

Д.Н. МАМИН  
СИБИРЯК

# Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк

## Авва. Очерк (Сибирские рассказы)

Впервые опубликован в журнале «Дело» 1884, №№ 3 и 4. Включен автором в состав «Сибирских рассказов» в 1905 г. Печатается по тексту: «Сибирские рассказы», т. IV, М., 1905.

Известны две рукописи очерка: 1) начало первой главы — хранится в ЦГАЛИ в Москве; 2) полностью — в Свердловском областном архиве; эта рукопись имеет подзаголовок: «Очерк из жизни уральского духовенства». По сравнению с рукописью печатный текст имеет некоторые сокращения.

Изображенные в очерке картины жизни духовенства, сравнительно редкие в творчестве Мамина-Сибиряка, свидетельствуют о хорошем знании писателем быта этой среды. Образ отца Андроника и самый конфликт представителя старого духовенства с новым намечены в очерке Мамина-Сибиряка «Сестры» (1881), но очерк не был опубликован при жизни писателя.

Очерк был положительно отмечен критикой. В «Журнальном обозрении» критик «Недели», сравнивая почти одновременно появившиеся повесть «весьма известного» Боборыкина «Без мужей» с произведением «почти неизвестного г. Сибиряка», отдает предпочтение последнему: «У г. Сибиряка мы видим душу чело-

века, а у г. Боборыкина всего только человеческую испарину да пару изорванных дамских башмаков» («Неделя» 1884, № 22).

# Содержание

I.....	.0006
II.....	.0033
III.....	.0058
IV.....	.0076
V.....	.0096
VI.....	.0114



— А у нас, дева, поп новый... — докладывала мне Фатевна, разбитная заводская прасолка. — Совсем еще молоденький, а такой, Христос с ним...

— Какой?

— Спроси у Андроника, какой... Он тебе скажет!..

Фатевна поправила сбившийся на груди длинный передник и загадочно хихикнула себе в нос. Очевидно, Фатевне хотелось продолжать начатый разговор, и она нерешительно переминалась с ноги на ногу, ожидая реплики. Толстая, коренастая, точно сколоченная фигура Фатевны так и дышала той изворотливостью и неугомной суетой, какие присущи всем мелким торговкам, промышленяющим всякую малость одним собственным трудом. Особенно характерно было лицо Фатевны: рябое, морщинистое, с широким ртом, орлиным носом и серыми ястребиными глазами. Она умела все на свете видеть «наскрозь» и резала своим языком хуже ножа. В своем ситцевом сарафане, розовой ситцевой

рубашке, в козловых мягких башмаках «ступнях» и в какой-то мудреной повязке на голове, Фатевна выглядела настоящей бой-бабой, которой пальца в рот не клади. Говорила она скоро, бормотком, точно сухой горох сыпала, и в такт сыпавшимся словам сильно размахивала своими длинными руками; особенно интересно умела Фатевна повертываться на одном месте стопочкой, точно деревянная кукла на пружине. Впрочем, повертывалась она так только в хорошем расположении духа, а когда ссорилась со своей квартиранткой Глафирой, ограничивалась только движениями одной головы, которую совсем почти повертывала назад, как это делают хищные птицы. К числу особенностей Фатевны принадлежала привычка всем без различия говорить «дева». Теперь, пока я пил чай, Фатевна подробно «отлепортовала» о новом священнике, который, очевидно, сильно ее занимал.

— Ничего, он оборотистый, дева, — заключила свою речь Фатевна, разводя руками, точно сновала пряжу. — Не чета Андронику-то... Только будто у Андроника денег много, а так, ежели его взять, так все равно, что мешок с

травой — ничего он не стоит.

— Что, видно, поссорились опять с Андроником-то?

— Я!.. Ох, и не говори!.. Один только грех, дева, с этим Андроником. Прямо сказать... А на его-то деньги мне плевать!.. Мое дело женское, каждую копейку из-под ногтя добываешь, а и то с поклоном к Андронику не пойду... Вот ужо подведет ему животы новый-то. Его отцом Егором звать... Ну, я распустила с тобой басни-то, а ты, поди, есть хочешь?

— Пожалуй...

— Постный день-то сегодня, плохая у нас еда. Разе вот пирог с грибами немножко отдохнет, так его тебе подать?..

— Ничего и пирог...

Фатевна повернулась стопочкой и поплыла к выходу; ходила она, по своей толщине, с легким перевальцем, как ходят маленькие дети.

— А ты пойдешь к имям? — спросила Фатевна, останавливаясь в дверях.

— К кому это?

— Обнакновенно к кому: к попу Андронику...

— Да ведь Андроник один...

— Ну, а дьячок Паньша, учитель Краснопевцев, — ведь они и днюют и ночуют у Андроника. И по улице так гнездом и ходят... Учитель у нас недавно, почитай вместе с отцом Егором приехал, а водку пить — так и хлещет, так и хлещет. Как-то идут мимо нас, то есть Паньша с учителем, а Глафира увидела их в окошко и говорит: «Вот, говорит, бредут две глисты». Ей-богу, дева!.. У Глафиры в зубах не завязнет...

— Мамынька, где ты запропастилась? — слышался в сенях звонкий голос единственной дочери Фатевны, Феклисты.

— Иду, иду... Эх тебя взяло!.. Так я тебе пирога подам, не обессудь на нашей простоте.

Бывая в Мугайском заводе, я всегда остаюсь в опалубленном домике Фатевны не потому, чтобы сама Фатевна или ее дом мне особенно нравились, а просто по старой привычке: остановился раз, а там и пошло. Да и выбирать, собственно, было не из чего: или на земскую квартиру, или к Фатёвне. Я из двух зол предпочитал последнее, потому что на земской квартире уж слишком было

неприглядно.

Как по наружному виду, так и по внутреннему устройству домик Фатевны служил характерным дополнением своей бойкой хозяйки. Он стоял на высоком берегу заводского пруда, на самом углу улицы, и так сыто поглядывал кругом своими пятью окнами!.. Железная крыша, беленые трубы, раскрашенные зеленой краской ставни и ряд хозяйственных пристроек придавали ему типичный вид купеческой архитектуры средней руки. Такие палубленные стены, расписные ставни, крепкие ворота и железные крыши точно отмечают накопившееся среди остальной заводской голытьбы плотное довольство тех счастливых, которые успели выделиться из остальной человеческой массы и вполне утвердись на своей линии. В таких крепких домах и живут крепко, превращая отдельные дни в кольца какой-то железной цепи, которая не порвется и всегда постоит за себя.

Внутри дом Фатевны был устроен замечательно, в том отношении, что в нем, точно со специальной целью, были сгруппированы всевозможные неудобства, какие только мож-

но придумать. Всех комнат было четыре, пятая кухня, но они были так расположены, что, собственно, не было ни одной отдельной комнаты, а все были проходные, так что составляли что-то вроде широкого коридора, разделенного перегородками с дверями. Жить в общечеловеческом смысле в таких покоях не было никакой физической возможности, потому что и строились и убирались они преимущественно «на случай гостей». Эти гости были чем-то вроде пункта помешательства для Фатевны, и она лезла из кожи, чтобы не ударить в грязь лицом. С этой нарочитой целью везде были разостланы чистые половики домашней работы, на окнах развешены кисейные занавеси с бахромками, на подоконниках расставлены мещанские цветы — петухи, герани, красный перец и т. д. Мебель, состоявшая из расклеившихся ломберных столов, подержанных венских стульев, приобретенных по случаю двух диванов, обитых пестрым ситцем и жестких, как чугунные плиты, и парадной двухспальной постели, на которой сама Фатевна никогда не спала, — эта мебель являлась жалким сколком с купеческой

городской роскоши и наводила тоску на свежего человека своим бесприютным видом, точно здесь был собран музей самых неудобных вещей для домашнего обихода. Прибавьте к этому, что все наружные стены дома были изрублены окнами, а внутренние — дверями, так что, собственно говоря, нигде было поставить кровати. Я устраивался обыкновенно на одном диване, который стоял под тремя окнами, что зимой было особенно неудобно и с чем приходилось все-таки мириться, чтобы не ложиться головой к наружной двери, а ногами к печи.

Мне обыкновенно приходилось проводить в Мугайском заводе всего несколько дней, и Фатевна с удовольствием уступала мне свои парадные горницы, вероятно, желая блеснуть своей обстановкой пред заезжим человеком, который лучше других мог оценить все достоинства ее горниц. Сама Фатевна перебивалась с мужем Денисычем и косоглазой дочерью Феклистой в темной и холодной «куфне», где всегда было сыро и пахло гнилью, а зимой холодно, как в погребе. Чтобы не нарушать великолепия парадных горниц, Фатевна спала

даже зимой на полу кухни, под тремя шубами, уступая печку Денисычу, а полати — Феклисте. Благодаря таким условиям Фатевна целую зиму маялась то зубами, то поясницей, то животом, то головой, но я уверен, что в ее трещавшей от угара, холода, сырости и сквозного ветра голове ни разу не мелькнула мысль о возможности занять хоть на время одну из горниц

— А гости навернутся?! — с ужасом объяснила мне Фатевна, когда однажды я намекнул ей на такую возможность. — Што ты, што ты, дева... Устраивала-устраивала, налаживала-налаживала горницы, а тут стану сама же их срамить. Экое ты слово вымолвил, дева!..

— Хуже постоянно хворать, Фатевна, а неровен час и богу душу отдашь, а горницы останутся.

— И пусть останутся, Феклиста будет жить... А што насчет смерти, дева, так ты это даже совсем напрасно: вон наша Глафира скрипит, а я против нее еще верба вербой. Это господа придумали разные простуды, а мы и так износим.

В ожидании, пока пирог с грибами «отдох-

нет», я разрешил почти математическую задачу, вроде четвертого измерения, как устроиться со своими пожитками в средней горнице, на неумолимо жестком диване, точно набитом булыжником. Главное неудобство моей позиции заключалось, во-первых, в том, что вечером, при огне, в моей комнате было все видно, как в фонаре, потому что парадных занавесок опускать не полагалось; во-вторых, косая Феклиста имела привычку шмыгать через все комнаты как раз в те моменты, когда только начнешь раздеваться или одеваться. Время было летнее, самый полдень; с улицы так и тянуло тяжелым зноем, самовар погас и только изредка пускал одну протяжную пискливую нотку, точно удавленный. Разместив свои пожитки частью под гостеприимный диван, частью в угол, я с удовольствием мечтал после «отдохнувшего» пирога вздремнуть где-нибудь в прохладном местечке, но это благочестивое желание было нарушено криками и руганью, которые донеслись со двора. Я распахнул окно на двор.

— Вон он, барин-то... Он все слышит! — голосил знакомый мне голос Глафиры, которая

сидела на приступке подсарайной, с чулком в руках.

— И пусть слышит!.. — азартно отвечала Фатевна, выступая по двору ферттом и даже поставив руки в боки. — А ты все-таки живая боль... Чего размыргалась, как ворона перед ненастьем?

— И ты хороша, сухая мозоль, — отвечала Глафира, стараясь выдержать незлобный тон. — Ровно бы тебе, Фатевна, и помолчать пора. Правду, видно, говорят, что бабье серсо [1] как худой горшок, — все бренчит. Ты бы хоть чужих-то людей постыдилась. Своя дочь на возрасте, а девисе разве пристало твои непогожие речи слушать?

Слабым местом Фатевны была ее «девिसа» Феклиста, которая из-за своего косога глаза совсем «зачичеревела» в девках, что родительскому сердцу Фатевны было особенно прискорбно. В крайних случаях Глафира умела именно с этой стороны напасть на Фатевну, и последняя лезла на стену, стараясь, в свою очередь, отзолотить злыдню Глафирку на все корки. Теперь, когда барин в окошко все видел и слышал, отношения воюющих

сторон обострились в высшей степени и перешли в настоящее ратоборство. Посыпалась обоюдная брань. Фатевна в азарте даже бросала щепами в своего врага, а Глафира плевала в нее, хотя щепы и плевки и не достигали своих конечных целей. Закончилась эта ссора тем, что обе стороны, устав ругаться, обратились к моему третейскому суду, причем старались перекричать друг друга, так что понять в этой сумятице решительно ничего нельзя было, хотя по особенно частому упоминовению имени Феклисты и можно было догадаться, что дело вышло из-за нее.

— Мамынька, пирог-то отдохнул!.. — крикнула Феклиста, появляясь на крыльце в подтыканном ситцевом сарафане.

— Ах, я дура!.. — обругала себя Фатевна, направляясь к «куфне». — Простудила совсем пирог-то из-за этой злыдни...

— Ступай, ступай, воевода... — поддразнивала Глафира, хихикая коротким смешком, причем закрывала свой рот широкой костлявой ладонью. — По словам, как по лестнице, ходишь, а барин с голоду умирай...

Фатевна, занеся ногу на приступок крыль-

ца, остановилась и, обернувшись назад, каким-то неестественно высоким голосом закричала:

— А ты, мошь, уходи от меня!.. Слышишь? Чтобы и духу твоего не было у меня в дому!

— И уйду... сейчас уйду!.. Испугала, подумаешь, своим-то домом, да я... Важное кушанье: плюнуть и растереть нечего.

— Мошь, мошь, мошь!..

Конечно, вся эта сцена была самым невинным упражнением в красноречии, чтобы убедить барина и весь свет, какая ведьма эта Фатевна и какая злыдня Глафирка. Стороны, взывая к моему третейскому нелицеприятному суду, конечно, рассчитывали каждая исключительно в свою пользу. Невинными свидетелями происходившего ратоборства, кроме меня, были две копавшиеся в мусоре курицы, шарашившийся на длинной привязи теленок, лаявшая на воздух цепная собака Соболь, Денисыч, запрягавший под навесом лошадь, и девица Феклиста, гремевшая в кухне посудой. Денисыч, сутулый и низенький мужик в пестрорядевой рубахе и таких же портах, в развалившихся сапогах и рваной шля-

пенке, меньше всего походил на то, чем должен был бы быть муж Фатевны. Он сильно смахивал на одного из тех кухонных мужиков, каких можно встретить где-нибудь на черной лестнице большого столичного дома. Впрочем, в доме Фатевны он и выполнял роль такого кухонного мужика. Какое-то полинялое лицо, мочальная бороденка, вялые движения, апатичный, мрачный взгляд — все говорило не в пользу Денисыча. Народ зовет таких мужиков мусорными. Заложив лошадь и поплевав на руки, Денисыч постоял около телеги минут пять, потом почесал в затылке и, передвинув свою шляпенку с уха на ухо, в прежнем раздумье вяло побрел в кухню, вероятно, с слабой надеждой, не перепадет ли и на его долю «отдохнувшего пирога». На дворе, залитом ярким июльским солнцем, осталась теперь одна Глафира. Зевнув устало несколько раз в свою костлявую руку, она посмотрела на кухню и неожиданно запричитала тоненьким плаксивым голосом, точно ее придавили:

— Сирота-а я горемычная!;. Нету у меня ба-  
тюшки-заступничка, матушки-заботушки!  
Некому за меня заступиться!.. Оххо-хо!.. Хоть

бы умереть от этой каторжной жисти! Вон она, эта ведьма, как меня собачила!.. Дом у ней, слышь, так ступай из дому! И уйду... У покойного тятеньки какой дом был, — почище этого в сто раз, да и то не хвастался. Собака, эта Фатевна, настоящая ценная собака... И уйду, непременно уйду... Попадья отца Егора давно меня сманивает—и уйду к ней. Ох, я сирота беззащитная, горе-горькая сиротинушка!.. У Фатевны-то у самой дочь вон какое ко-сое дерево уродилось.

Глафире давно было за сорок; по общественному положению она была христовой невестой, потому что уродилась такой длинной и нескладной вислятью, что ни один жених не решился вступить с ней в закон. Точно вытянутая фигура Глафиры поражала своей непропорциональностью, и общая костлявость делала ее совсем безобразной. Длинные руки висели безжизненно; двигалась Глафира на своих длинных ногах с таким неуверенным видом, точно они у ней были отморожены, или под тощими складками безжизненно болтавшейся на ней шерстяной юбки были деревянные ходули вместо ног. Длинное, жел-

тое лицо Глафиры было покрыто мелкими морщинами, большой рот открывал два ряда гнилых зубов, которые она напрасно старалась закрыть своей костлявой рукой, жидкие темные волосики на вдавленных пощучьи висках точно были прилизаны; вообще эта почтенная девственница отличалась большим безобразием, и только наступившая старость придавала ей известную долю благообразности, скрывая своими морщинами пороки и недостатки. Только крошечные голубенькие глаза, как две незабудки, смотрели всегда так любовно и с насмешливым добродушным огоньком, да большой, некрасивый рот улыбался точно что-то спрашивавшей застенчивой улыбкой, какой умеют улыбаться все русские божьи люди. Голос у Глафиры был слабый, чахоточный, но он так хорошо переливался, точно ручеек бежит, так что хотелось его слушать без конца. В самом тоне было что-то такое безобидное, успокаивающее. Так умеют говорить старые няни, няни по призванию, которые заговаривают самых беспокойных ребят, когда те капризничают и купоросятся перед сном. Я любил слушать,

как говорила Глафира, особенно, когда она что-нибудь рассказывала, — она умела схватить самые типичные особенности людей и особенно их слабые стороны.

К числу особенностей этой христовой невесты, между прочим, принадлежала способность сочинять стихи, вернее, складывать, потому что грамоты Глафира почти не знала. Сюжеты она выбирала из текущей действительности, причем ее недругам перепало на долю немало злых сарказмов. Где училась Глафира этому искусству и как научилась, трудно сказать; в ней, может быть, сказывалась та поэтическая жилка чисто народного склада, посредством которой создавались все народные песни, сказки, притчи, былины и сказания. В данном случае дар богов разменивался на слишком мелкую монету...

Потрапезовав пирогом с грибами, я только прилег на диван немножко отдохнуть после дороги, как в мою комнату неслышными монашескими шагами вошла Глафира. Она таинственно огляделась по сторонам и, убедившись, что засады нигде нет, потом заговорила:

— А ведь я вам, надо полагать, помешала? Тятенька-покойничек всегда, бывало, как закусит пирожком, сейчас на лежанку — теплая у нас такая была лежанка — и отдернет чашик-другой... Я уж лучше уйду, а вы отдыхайте.

— Нет, садитесь... Что давеча не приходили чай пить?

— Ох, уж до чаев ли нам!.. Слышали, как даве Фатевна-то меня золотила? Уж она меня и так и этак... А мое дело сиротское... да...

Глафира каким-то деревянным жестом закрыла своей костлявой рукой глаза и тихонько захныкала; между пальцами у ней посыпались мелкие старческие слезки, падая на бутылочного цвета полинялое шерстяное платье.

— Да о чем вы ссорились с Фатевной? — спросил я, чтобы прервать наступившую тяжелую паузу. — Садитесь, пожалуйста.

Глафира присела на кончик стула, неторопливо высморкалась в кончик клетчатого платочка и, смахнув им же слезы и еще раз оглянувшись кругом, таинственно заговорила:

— Съела она меня, Фатевна-то, поедом съела, как пила день и ночь пилит... Со свету сживает. Просто прохожу нет... И из-за чего?.. Просто головушки не приложу...

— Да давеча-то о чем вы ссорились?

— Давеча-то?.. Долго это вам рассказывать будет, да и рассказывать-то, пожалуй, не о чем. Просто Фатевна бесится, как псицв другая...

При последних словах Глафира улыбнулась сквозь дрожавшие еще на ресницах слезы и, поправив концы шерстяного платка, которым была повязана у ней голова, заговорила тем особенным тягучим речитативом, каким умеют говорить только странники, разные божьи люди и особенно сказатели раскольничьих стихов.

— Нас с Фатевной и судить—так не рассудить, сударь, ежели по-настоящему все рассказывать-то, а так, к слову пришлось, так уж обскажу вам... Учитель к нам в Мугай новый приехал, Пом пей Агафонич Краснопевцев. Слышали? Уж успела Фатевна отлепортовать... Этакое жало змеиное, подумаешь! Ну, так я про учителя-то начала... Из-за него, соб-

ственно, все и дело у нас вышло. Парень он молодой, холостой. Из себя-то не то, чтобы уж очень завидный, ну, а которая девиса зачичеревела, так ей даже очень интересно и за такого мужа выскочить. Все же как-никак мужчинка, хоть и пьет он... От попа Андроника не выходит, так там живмя и живет: Паньша да он. Хорошо. А как приехал учитель к нам в Мугай, поискал, поискал фатеры, да, не хуже — не лучше, к Фатевне на хлебы и стань... Я еще подивилась тогда, зачем она егопустила: какая от учителя корысть ей, ежели он, можно сказать, одной водкой живет, а тут и вышло, что Фатевнато похитрее нас всех будет. Она ведь его чуть-чуть не женила на своем косом-то дереве, на Феклисте... Ей-богу!.. И бессовестная же эта Фатевна... Ведь совсем загубила бы парня. Помпей теперь убирал бы навоз да чистил конюшни у Фатевны, ежели бы не я. Грешный человек, пожалела я его и расстроила все дело... Ну, натурально, Помпей-то, как очнулся, чуть мне не в ноги, а потом уж... И рассказывать-то даже неприятно! Этот же самый Помпей большие мне неприятности делает, потому, не поя, не кормя, во-

рога не наживешь. За моето добро Помпей на меня же и остребенился. Ей-богу!.. Он в церкви поет со своими парнишками, и ничего, хорошо поет. Как-то, этак в великом Посту, сидим мы на именинах у Ивана Прохорыча, у надзирателя... служащие, духовные, старшина. Хорошо. Только Помпей подходит ко мне, а сам уже за галстук успел налить, подходит и говорит: «А ты, — говорит, — Глафира Марковна, — так и тычет меня, — ты, — говорит, — зачем про меня да про косую Феклисту стихи написала?» И пошел и пошел... Смешно так говорит, все хохочут, мне совестно, а он: «Вот ты, Глафира, умрешь скоро, так мы тебя отпевать с вершка будем... За каждый вершок отдельно плати, потому у тебя рост вон какой!» Очень он тогда меня сконфузил...

— А стихи-то вы про него все-таки написали?

— Вот даже нисколько не писала. Хоть сейчас икону сниму! Про Фатевну действительно составила стишок, да еще про Андроника, ну, тут и про Помпея будто помянула немножко. А Помпей-то ничего бы и не знал, ежели бы его поп Андроник не настроил. Случай тут ма-

ленький вышел... Смешно и рассказывать-то!

Глафира перевела дух и улыбнулась.

— Какой же случай-то, Глафира Марковна?

— Да так, пустяки... Я и про Андроника-то не писала ничего, а только про Фатевну, ну, а Андроника покажись это обидно, вот он и напустил на меня и Помпея и Паньшу. Напьются у Андроника да ночью — к нашему дому... У Паньпи вон какая пасть-то, как заорет: «...и сотвори рабе твоей Глафире вечную память...», — а потом вдвоем и затянут: «Вечная память...» К старшине ходила уж жаловаться на них, потому житья мне не стало от них. Хорошо... Так вот, я про случай-то начала вам рассказывать... Лошадник ведь Андроник-то у нас, страшный лошадник. И была у него вороная кобылка, грива на левую сторону и копыта стаканчиками. Мягкие у ней были копытцы-то, не больно важные, ну, а бегала она ничего — как следует лошади. Ну, и приглянулась эта самая кобылка нашей Фатевне, а уж ей, что приглянется, вынь да положь. Ведь обошла она попа Андроника, кругом обошла... Тот совсем и не думал лошади продавать, а тут спустил ее Фатевне за пятьдесят

целковых. Хорошо. Привела Фатевна лошадь, стоняла на ней раза два в город, а потом и продала ее новому нашему попу, отцу Георгию, за сто целковеньких. Ей-богу... При мне и продавала. Чистый цыган, куда, и цыгану не сделать супротив Фатевны! Приведет это по-па к себе и давай представляться с своей кобылкой: под брюхом у ней пролезает, верхом гоняет... Ну, и продала! А попу-то Андронику это вдвойне обидно, потому пятьдесят целковых, первое, жаль, а второе, на его же кобылке теперь отец Георгий по всему заводу разъезжает. А у них щромежду собой контры выходят: сильно рознят. Ну, я все это и описала про Фатевну да еще прибавила, как она дочь свою хотела выдать за Помпея... На меня все и накинулись. Из-з<а этого самого и сегодня Фатевна лаялась на меня. А мне что: все равно я уйду от нее, хоть она озолоти меня, не останусь...

В каких-нибудь полчаса Глафира высыпала все мугайские новости, которых было очень немного: назначили в Мугай нового управителя, какого-то француза; сторел дом у бухгалтера, поймали весной у бучила щуку в

полтора аршина, поп Андроник чуть не утонул вместе с учителем и Паньшей и т. д. Рассказывала она все с мельчайшими подробностями, как умеют рассказывать только самые записные сплетницы. Меня всегда удивляли аналитические особенности Глафириных мозгов, потому что в ее маленькой головке все впечатления действительности переваривались с той отчетливой тонкостью, с какой идут только химические реакции. Этот оригинальный ум работал, как серная кислота, разлагая беспощадным образом все, что попадало под руку. Между прочим, с ловкостью настоящего дипломата Глафира осведомилась, надолго ли я приехал в Мугай и зачем.

— Наболтала я у вас с три короба, — заговорила Глафира, поднимаясь с места. — Уж извините, пожалуйста... Поговорила с чужим-то человеком — все же на сердце легче. Не привыкла я к мужицкому-то обращенью, как Фатевна, вот меня и тянет к вам... Если бы покойничек тятенька был жив, да я и смотреть-то на это змеиное жало не стала бы, на Фатевну-то.

Между Фатевной и Глафирой существова-

ла какая-то почти органическая ненависть, которая проявлялась в самых ярких и крикливых формах, а между тем эти две женщины жили под одной кровлей не один десяток лет, мало этого, кажется, даже не могли существовать одна без другой. Что их связывало, трудно сказать, но эта невозможная комбинация продолжала существовать, как существует многое другое на белом свете. Глафира происходила из обедневшего управительского рода, кажется, имела маленький капиталчик про черный день и существовала исключительно работой собственных рук. Занимая крошечную каморку где-то в подсарайной[2] она вечно возилась с полосами ситца и других материй, из которых выкраивала заводским щеголихам самые модные фасоны. В своей специальности Глафира настолько «наварлыжилась», что могла существовать вполне безбедно, конечно, пока бог грехам терпит, потому что вечно у ней что-нибудь болело, и она вечно лечилась по всевозможным рецептам. В ее лице сгруппировались всевозможные болезни, какие только в состоянии придумать медицина, и, по всей вероятности, Глафира дав-

но отошла бы в селения праведных, если бы ее не поддерживала упорная и ожесточенная борьба с Фатевной, которая бодрила и крепила ее лучше всевозможных лекарств.

Фатевна являлась полной противоположностью Глафиры, как типичная представительница разбитной, проворной заводской бабы, которая сумела не только выбиться из остальной заводской босоты и наготы, а, поднявшись на известную экономическую высоту, отвоевала себе совершенно особенное место в природе. Она вела небольшую торговлишку, торговала всяким товаром, какой подвертывался под руку за сходную цену: зимой — хлебом, осенью — крестьянским товаром, в Петровки — косами-литовками и т. д. Особой специальностью Фатевны была торговля лошадьми, вернее, барышничество, потому что она чаще меняла их с непременной придачей. За лошадьми она ездила на конные ярмарки, сама выбирала из пригонных киргизских табунов подходящих скотов, сама объезжала их, а потом неизменно сбывала их какому-нибудь хорошему человеку, каких у ней было по заводам целая «пропасть». Кроме

этого, Фатевна брала на себя всевозможные комиссии, и брала часто не из расчета, а просто из любви к искусству: понадобилось жене плотинного, переменить пеструю корову непременно на бурую — сейчас к Фатевне; у французауправителя для ребенка искали дойную козу — и тут без Фатевны дело не обошлось; достать лесу, обрядить невесту, найти писаря в волость — все это Фатевна орудовала в лучшем виде, как никто другой. У себя дома она решила «женский вопрос» по-своему и держала Денисыча совсем в черном теле, предоставив ему самую тяжелую домашнюю работу, в то время, как сама разъезжала по ярмаркам, покупала, меняла, объезжала лошадей и вечно что-нибудь промышляла и гоношила. Нужно, однако, оговориться: по праздникам, когда Денисыч успевал где-нибудь напиться, он вдруг начинал чувствовать себя настоящим, заправским мужем, бушевал, ругался и даже колотил Фатевну чем попадя. В таких исключительных случаях Фатевна принималась неистово голосить и, простоволосая и с исцарапанным лицом, выбежала на улицу, поднимая на ноги всю ее. Дени-

сыча связывали, умирляли домашними средствами, и этот примерный муж опять вез свой воз как ни в чем не бывало. Меня всегда удивляло поведение Фатевны с пьяным мужем, которого она непременно задирала, точно сама напрашивалась на побои. Может быть, в этом случае Фатевна только платила известную дань своему все-таки бабьему положению и хоть «на час места» желала быть такой же бабой, как все другие заводские бабы: ей нравилось дразнить пьяного Денисыча, чтобы потом поголосить вдоволь на улице.

— Да ведь он мне муж, дева! — объяснила однажды Фатевна эту аномалию в своей жизни.

Из окон дома Фатевны открывался великолепный вид на Мугайский завод, главным образом на ту его часть, которая расположилась по берегам заводского пруда. Домик Фатевны стоял на береговом уторе, недалеко от заводской плотины. Таких заводов, как Мугайский, по восточному склону Урала рассыпано несколько десятков, и все они походят один на другой в общих чертах с той разницей, какую вносит природа: на юге и на севере Урала горы выше и живописнее, а в средней части представляют только большой величины холмы, разбросанные по зеленому простору, без всякого плана и порядка, как высыпанные из мешка ковриги хлеба. Горы, окружавшие Мугайский завод, или попросту Мугай, были невысоки и сплошь покрыты вечнозелеными ельниками; вдали, повитые синеватой мглой, они кучились, как темные гроззовые облака, выплывавшие изза горизонта круглившимися линиями. Широкая полоса заводского пруда вдавалась между горами широким светлым языком; по берегам пруда

заводские домики выровнялись в правильные линии, образуя широкие, убитые заводским шлаком улицы. Можно было пожалеть только об одном, что заводские дома выходили на пруд, большею частью своими задворками и огородами, за небольшим числом исключений, вроде домика Фатевны. Если бы повернуть все дома фасадом к пруду, вид на завод много выиграл бы относительно красоты общего вида, но русский человек как-то меньше всего заботится о такой красоте. Другим недостатком постройки являлось полное отсутствие садов. Панорама жилья поражала своим голым видом; только два — три кедрика одиноко торчали кое-где в огородах, как позабытые смертью инвалиды. Крайние постройки отделяла от леса неширокая полоса пашен и кулиг.[3] Особенно хорош был вид на Мугай рано утром, когда весь пруд еще дымился туманом.

Заводские домики, по своей архитектуре, представляли нечто среднее между городскими постройками и деревенскими избами, вернее сказать, здесь перемешались и те и другие. Как особенность местной архитектуры

можно отметить только обычай крыть дворы наглухо. В лесной полосе России, где нашел себе приют раскол, большинство домов выстроено таким образом, что объясняется, раз — обилием строительного лесного материала, а второе — исторически сложившейся привычкой жить «усторожливо». Каждый двор представляет собой небольшую деревянную крепостцу, попасть в которую непрошеному гостю очень трудно; так строится каждый справный мужик, хотя особенной нужды в таких усторожливых постройках и не имеется. Непривычному человеку даже неприятно, отворив ворота, попадать в кромешную тьму, где долго глаз не может отыскать отдельные предметы.

Пруд был перехвачен широкой плотиной, из-за которой выставлялись дымившие фабричные трубы. На левой стороне пруда стояла деревянная низенькая церковь, совсем упавшая в зелени лип и черемух; напротив нее — заводская контора с белыми колоннами у подъезда. В конце небольшой квадратной площади, которая отделяла собственно фабрику от «базара», как забытый в лесу гриб,

сидел старый господский дом. На правой стороне пруда, у подножия оголенной горки, строилась новая каменная церковь; за ней, вверх по горе, тянулись черные угольные валы. Сейчас за плотиной местность сильно понижалась, и бойкая горная речонка Мугай весело разливалась в своих глинистых плоских берегах, образуя широкую и красивую излучину. Здесь живописно рассажались самые бедные избушки, и, между прочим, здесь же стоял одноэтажный деревянный домик попа Андроника, глядевший в Мугай своими пятью большими окнами с крепкими новыми ставнями.

Отдохнув после дороги, вечером я отправился проведать старого знакомого, попа Андроника. От дома Фатевны сначала нужно было пройти по берегу пруда, потом обогнуть фабрику, перейти переброшенный через Мугай деревянный мостик и спуститься вниз по реке. Когда я поравнялся с фабрикой, отдал свисток, — это был конец трудового фабричного дня, — и из ворот фабричного двора высыпала пестрая и чумазья толпа рабочих. Сре-

ди устало бревших мастеровых весело толкались подростки и ребята лет десяти, которых не могла угомонить даже двенадцатичасовая фабричная работа; пестрядевые рубахи, войлочные шляпы и фуражки, потные красные лица и устало висевшие руки — все было точно пропитано заводской сажой. Отдельной артелкой торопливо бежали поденщицы и дровосушки; слышался кокетливый визг и молодой беззаботный смех. Я шел за этой толпой по мосту и затем свернул по берегу Мугая. Около берега, засучив штанишки выше колен, стояли в воде мальчики с длинными удочками; мутная вспененная вода катилась мимо них, унося с собой щепы и разный хлам. А вот и домик о. Андроника, с крепкими воротами и высоким забором; из-за него зелеными шапками поднимались кусты рябины. Поп Андроник жил всегда крепко, и нечего было думать напасть на него врасплох: ворота, все двери и окна всегда были на запоре.

— Кто там? — слышался чей-то незнакомый голос, когда я постучался в ворота.

— Отец Андроник дома?

Мой стук поднял страшный лай двух цеп-

ных собак, потом загремел железный засов с железной цепью, и калитка наконец отворилась. Предо мной стоял молодой человек, длинный и худой, с болезненным тонким лицом, казинетовое коротенькое пальтецо лоснилось около карманов и по борту, парусиновые панталоны были заправлены в сапоги, фуражки на голове не было. По описанию Глафиры, я узнал в молодом человеке учителя Краснопевцева, который смотрел на меня прищуренными маленькими глазами вызывающе и насмешливо.

— Сколько лет, сколько зим... — загремел хриплый бас о. Андроника, который в одном белье и жилете поверх ситцевой розовой рубашки патриархально сидел на крылечке. — Откуда, куда и зачем? Ну, здравствуй, братчик...

Поп Андроник был невысок ростом, коренаст и плечист; его сильную, на диво сколоченную фигуру портил только большой живот, сильно выпиравший из-под шелкового атласного жилета, какие носили франты лет сорок тому назад. Большая голова о. Андроника с висевшими космами темных волос, силь-

но прохваченных сединою, придавала ему суровый вид. Большой, мясистый нос, крупные губы, густые сросшиеся брови и одутловатые щеки, обильно обросшие редкой щетинистой бородой, еще усиливали первое впечатление суровости. Только когда поп Андроник начал громогласно хохотать, вздрагивая всем телом и поднимая жирные плечи, он превращался в оригинального и добродушного человека, которому природа дала суровую физиономию бог знает с какой целью. Впрочем, этот массивный старик, сделанный из всего дерева, не был чужд некоторым недостаткам и, между прочим, любил задать тону своей представительной фигурой, пока сам первый не начинал хохотать. А посмеяться поп Андроник любил и смеялся мастерски, так что, глядя на него, самому хотелось тоже хохотать; От низких басовых нот он быстро переходил к теноровым и, закрыв глаза, заливался самым высшим гласом. В семинарии, во времена оны, он слыл за первого силача, но теперь сильно постарел, обрюзг и просто зажилел.

— Это Паганини, братчик. коротко отреко-

мендовал о. Андроник учителя. — Он у меня с Паньшей такие концерты задает, что отдай все!

Около сарая я только теперь заметил сторбленную жидкокоственную фигуру самого Паньши, который, несмотря на летний день, был облечен в толстый драповый подрясник цвета *Bismark furioso*. [4] Одной рукой Паньша придерживал расходившиеся полы своего подрясника, а другой прятал за спиной рваную баранью шапку, в которой ходил и зиму и лето. Испитое, смуглое лицо Паньши с жиденькой растительностью на подбородке и спутанными на голове длинными волосами того же цвета *Bismark furioso*, длинный, смотревший в рюмку нос — все это, взятое вместе с общей протяженной сложенностью Паньши, полным отсутствием живота, ввалившейся грудью, острыми, угловатыми плечами и несоразмерно длинными руками, производило тяжелое и неприятное впечатление. Это был настоящий дьячок старой школы, униженный и льстивый, отдававший чем-то пришибленным. Только небольшие темные глазки, смотревшие льстиво и дерзко, придавали

физиономии Паньши оригинальное выражение.

— Мы тут, братчик, пса усмиряем, — объяснил мне о. Андроник, тыкая пальцем в согнутую фигуру Паньши. — Он похвастался, что подойдет к Нигеру...

— И подойду, отец Андроник, — отозвался Паньша, вынимая из-за спины свою шапку. — Я многих собак укрощал, а вашего Нигера...

— Не хвастай, братчик, — загудел о. Андроник. — Нигер тебя пополам перекусит...

— Отец Андроник, позвольте-с... Одно движение—и усмирю.

— О, черт с тобой, усмирай! — согласился о. Андроник. — Только я не отвечаю, если Нигер тебе нос откусит... Братчики, будьте свидетелями!..

— И пойду... да!.. Вы не смейтесь, отец Андроник... одно движение...

Физиономии действующих лиц светились подозрительным румянцем; Паньша, по-видимому, не совсем был уверен в своих длинных, подгибавшихся ногах, а Паганини забавно моргал слипавшимися глазами. Нигер, пестрая собака-дворняга, лежал у своей кону-

ры, положив большую голову между передними лапами, и подозрительно-вызывающе помахивал своим пушистым белым хвостом. Он точно понимал, что речь идет о нем. Две других собаки, прикованные к сараю, «внимательно наблюдали за каждым движением Паньши, вероятно, испытывая большое искушение запустить свои белые зубы в тощую плоть укротителя. Получив разрешение в окончательной форме, Паньша сделал несколько быстрых шагов к Нигеру и сейчас же отскочил назад, болтая в воздухе правой рукой.

— Что? Я тебе говорил, братчик? — торжествовал о. Андроник, колыхаясь всем телом. — Ай да Нигер, молодец!..

— Перст, отец Андроник... ваша собачка мне укусила перст... — лепетал Паньша, обертывая раненую руку в грязный носовой платок.

— Дурак! Благодарю бога, что она тебе голову не оторвала... Братчики, пойдете в комнаты, — предложил о. Андроник, поднимаясь с крылечка. — Паганини, ты куда?

— А я домой... — нерешительно заявил Па-

ганини.

— Врешь, братчик... Мы еще концерт устроим...

Двор у о. Андроника был открытый, но устроен хозяйственно. Крепкие службы, конюшни, баня, небольшой садик, где любил хозяин пить чай летом; под навесом стояли крепкая телега, дорожная повозка и легкая железная долгушка, выкрашенная зеленой краской. Сажень двадцать сухих березовых дров занимали задний план; ближе были сложены какие-то бревна и свежий тес. Где-то кудахтали куры и весело горланил голенастый кохинхинский петух; из отворенных дверей конюшни доносился храп и топот жевавших сено лошадей. В густой траве, в черге садика, лежала привязанная к изгороди коза с двумя козлятами. Вообще, по всему был виден хозяйский заботливый глаз. Самый дом был устроен по-старинному, с низенькими теплыми комнатами, без форточек и с высокими порогами в каждой двери. На окнах стояли припечатанные сургучом ведерные бутылки с наливками. Березовая мебель чинно сто-

яла около стен; широкий диван в гостиной, с придавленным сиденьем, свидетельствовал о гостеприимном характере своего хозяина. Но в этой приличной обстановке уютных, теплых комнат поповского дома чего-то недоставало — недоставало тех мелочей и пустяков, какие вносит с собой женская рука, оживляя мертвую обстановку. Даже излишняя чистота и опрятность комнаты отдавали чем-то нежилым и мертвым, как у всех старых холостяков. Поп Андроник овдовел в молодых годах, детей не имел, и теперь всем хозяйством управляла у него какая-то дальняя родственница, совсем бесцветная, молчаливая старушка, походившая на монахиню. Говорили, что поп Андроник скуп, как кощей, и дрожит над каждой копейкой. Но я лично очень любил его, как вырождающийся тип попа старого покроя, — именно попа, а не батюшки. К числу особенностей о. Андроника принадлежала его слабость к часам. У него был целый ассортимент карманных часов, начиная со старинной луковицы и кончая золотыми часами новейшей конструкции. Кроме того, в каждой комнате о. Андроник повесил по стенным ча-

сам и строго наблюдал, чтобы все часы в доме ходили из минуты в минуту, что стоило ему не только больших хлопот, но и порядочных издержек.

— Ну, вы тут посидите, а я схожу, распоряджусь... — говорил о. Андроник, вводя нас в свою гостиную.

Через пять минут он явился, облеченный в синий люстриновый подрясник и с бутылками в руках. Паганини приятно осклабился и толкнул локтем Паныпу, который не знал, куда ему деваться с своей шапкой.

— А где ты остановился? — спросил меня о. Андроник, устанавливая бутылки на угловом столике. — У этой архибести Фатевны?

Имя Фатевны произвело сенсацию. Паганини усиленно заморгал глазами, а Паныша торопливо сунул свою шапку под стул.

— Она, брат, меня так оплела... — жаловался о. Андроник, поднимая брови. — Слышал, братчик?

— Слышал мельком...

— Да это еще ничего, что оплела, а взяла да мою-то лошадь отцу Егору и продала... И про Егорку слышал? Тоже хорош с Фатевной-то —

два сапога пара. Может, Глафира и стихи про меня читала?

Отец Андроник рассердился и тяжело засопел носом, но потом улыбнулся и, тряхнув головой, добродушно забасил:

— А у меня был один знакомый стихотворец... Ей-богу! Вот как теперь тебя, вижу его, братчик. Я еще тогда в Кунгур ездил, к брату в гости. Ну, как-то собралась компания. Сидим. И стихотворец сидит с нами. Он по акцизу служил... Выпили. Я и говорю ему: «А ну-ка, братчик, скажи стихи!» Поддразнить его хотел, а он сейчас и брякнул:

*Вижу, вижу  
Даму рыжу,  
Я ее ненавижу...*

— Это не стихи, а рубленая говядина, — вяло заметил Паганини, наливая себе рюмку водки.

— Врешь, братчик! — защищался обиженный старик. — Ты ничего не понимаешь в стихах... Говорят тебе, настоящий стихотворец был. А Глафира меня, говорят, всего описала...

Паньша успел себе налить рюмку и умильно поглядывал на владыку, выжидая позволения.

— Батюшка, отец Андроник, благословите... — нерешительно проговорил он.

— Бог тебя благословит на хорошее, а на худое сам догадаешься... — пошутил старик и первый раскатился самым завидным хохотом. — Ну, чего ты ко мне пристал? Поставлено—пей...

— А я, батюшка, отец Андроник, могу сконфузить и Фатевну и Глафиру, — объяснял Паньша, опрокидывая рюмку. — Ей-богу, могу сконфузить...

— Чем ты их сконфузишь?

— Очень просто, батюшка, отец Андроник... Даже какую угодно высокую даму могу сконфузить. Подойду и скажу: вы тварь.

— А она тебе скажет: ты дурак... Ха-ха-ха!..

— Нет, позвольте, батюшка, отец Андроник... У меня есть доказательство: Адама бог создал из персти земной, а Еву сотворил из ребра, следовательно, всякая женщина — тварь... Я могу сконфузить всякую женщину в большой компании.

— Погоди, вот нас с тобой Егорка уже так сконфузит, что небо с овчину покажется, — задумчиво проговорил о. Андроник и опять нахмурил брови. — Заведется же такой человек, подумаешь... а?..

На угольном столике, кроме водки и домашней наливки, появились чисто поповские вина — тенериф и лиссабонское, но они служили только для декорации, центр тяжести оставался по-прежнему в водке. Сам хозяин сначала отказывался от выпивки, но, когда речь зашла об о. Егоре, он залпом выпил несколько рюмок, точно стараясь залить какого-то червяка, который мучительно сосал его. Пока Па нyla болтал разный вздор, — а Паганини ходил из угла в угол, как маятник, старик как-то уныло молчал. В нем не было прежней беспечности и добродушия, лицо было озабочено, в глазах светилась какая-то напряженная мысль, которая не хотела никак выходить.

— О чем вы так задумались, отец Андроник? — спросил я.

— Я?.. Гм...

Старик почесал в затылке и тяжело вздох-

нул.

— Последние времена, братчик, пришли... — уныло ответил он, опять наливая рюмку. — Кончено!..

— Что кончено?

— Ну, все кончено... Я все про Егора-то толкую, братчик. Приехал он к нам без году неделя, а уж всех прибрал к рукам. Проворный человек... хоть и ни с чем пирог.

— То есть как же это так? И проворный и ни с чем пирог?

— А уж так: ума настоящего в нем мало, а хитрости пропасть! Верно, братчик... Такие нынче люди пошли... Ведь и смотреть не на что, вот вроде Паганини — мозглявый такой, худенький, а так всех и загребает. По-настоящему-то я настоятель, а он мой помощник... Так? А на деле все так выходит, что чего он захочет, то и будет. И сам не знаю, как это он устраивает. Нарочно в свою сторону гну, а глядишь, все по-Егоркиному. Я даже, братчик, иногда боюсь его... Ей-богу!.. Ласковый такой, обходительный, а сам веревки из всех вьет. Взять теперь хоть такое дело: сборы. Жалованьишко у нас месячное — двенадцать с пол-

тиной... ну, доходы там кое-какие, а все-таки в общей сложности пустяки получаешь. Я раньше в деревне служил и привык к сборам: петровское беру, ругу беру, осеннее беру... Где парочку яичек, где масла ложку, где овса, — оно и сбежится малую толику. Другая баба зартачится, а я ей: «Ой, баба, баба, попу жалеешь, а умрешь — все останется!..» Ха-ха!.. Ну, бабенка испугается и лишнюю ложку масла накинёт. В другой раз лаской берешь: «А ведь ты, Матрена, ровно помолодела... а?..» Опять баба и расступится яичком попу Андронику за ласковое слово. Так-то... Нелегко нашему брату добыча-то достается, ежели разобрать; тоже живой человек — и язык переболтается. Хорошо. Приехал отец Егор и все по-своему повернул: «Не хочу осеннее да петровское собирать». «Врешь, — думаю, — жрать захочешь, даром, что хитер». Прошли Петровки, а он и в ус не дует — сидит да газету читает у окошечка. Что бы вы думали, бабенки все это пронюхали и на меня, как осы: «Вот отец Егор не собирает петровского... новое положение вышло». «Дуры вы, говорю, этакие, никакого нового положения не вышло, а отец Егор вас

просто оплетает...» Куда! слышать ничего не хотят! Ведь я половины не собрал, а он сидит с газетой да посмеивается... Вот он какой гусь!..

— Что же, отец Андроник, вольному воля. Нельзя же его заставить насильно петровское собирать...

— Нет, ты постой, братчик, послушай дальше-то... Деньгу и отец Егор любит; вот он и смозговал такую штуку: придет мужик свадьбу венчать, — тут его отец Егор и оборудует, да еще заставит ходить недели две. Я яичком беру, а он рубликом, да еще лучше его нет: мы, дескать, не христарадничаем, не просим по подоконью, как старый дурак, поп Андроник. Да это еще бы ничего, а то обидно, что мужики его же и уважают, Егора.

— Очень мозговатый человек отец Егор, — резюмировал все сказанное Панына.

— И везде он нос сует, везде ему дело, — продолжал сердито о. Андроник, отпыхивая, как тульский, давно не луженный самовар. — Взять хоть теперь Паганини... Эй, Паганини, про тебя говорю!

— Ну? — апатично отозвался Паганини,

продолжая шагать из угла в угол.

— Чего нукать-то, братчик... Этот Егор и Паганини подвел животы. В школе законоучителем состою я, как настоятель, ну, какое ему дело до школы? — так нет, и в школу пролез. Чуть не каждый день таскался в школу и до своего добился: произвел Паганини в нигилисты и даже чуть с места не сжил... Настоящий нокоть, какой лошадей берет!.. А потом в волость повадился: как сход, он тут как тут. Проповеди в церкви каждое воскресенье говорит, какие-то книжонки даром раздает мужикам, раскольников увещает. И как только ему не лень во всякую дыру свой нос совать...

— Иезуит... — промычал Паганини, наливая рюмку.

— Мазепа, — прибавил Паныша.

— Нет, Гришка Отрепьев! — громогласно решил о. Андроник и захохотал прежним раскатистым смехом.

Бесцветная старушка подала на тарелочках разной домашней поповской закуски: соленых грибов, паюсной икры, пирожков с капустой, и разговор о хитростях и подвохах о. Егора на время умолк. Говорили о разных

разностях, о старых знакомых, о дороговизне на харчи и т. д. Паганини вытащил откуда-то свою скрипку и довольно фальшиво сыграл на ней сначала вальс «II Басо», а потом какую-то мудреную херувимскую «Р-аззоренную». Паньша и о. Андроник подпевали. (Каждый истинно русский человек чувствует непреодолимое влечение к такому духовному пению, и я с особенным удовольствием слушал это оригинальное трио. Паньша прижался в уголок, по обыкновению, прихватив одной рукой полы своего рыжего подрясника, а другой закрывая рот. Но из его шершавой глотки с выдававшимся кадыком выливались такие бархатные, тягучие, таявшие ноты, что хотелось слушать без конца. Это был настоящий, богатейший баритон, который то спускался низкими, мягкими октавами прямо в душу, то с силой поднимался вверх и звенел, как туго натянутая струна. Паганини исполнял на своей скрипке теноровую партию. Волосы у него свалились на лоб, ноги немного согнулись в коленях, лицо побледнело. Отец Андроник давил густой октавой, плавно и с подавленной силой вершившей оригиналь-

ную мелодию. Я ничего не ожидал подобного и слушал, затаив дыхание. Можно было только пожалеть, что некому было срисовать эту своеобразную группу певцов. Когда пение кончилось, наступила тяжелая пауза. У о. Андроника на глазах блестели слезы, и он тихо улыбался своей добродушной, стариковской улыбкой.

— Хорошо, братчик... — проговорил наконец старик. — Паганини, вкусим по единой! Паньша, ты сам знаешь, что делать...

— Нет, вы посмотрите на скрипку, — приставал ко мне Паньша с скрипкой Паганини. — Это не скрипка, а актриса...

Да!

Скрипка была из самых плохих и была выкрашена, как рисуют на вывесках скорняков лисьи шкурки: бока ярко-желтые, а середина крестом покрыта густой черной краской. Заметив мой недоверчивый взгляд, Паньша обратил внимание на какой-то стеклянный кошачий глаз, вделанный в кобылку, что, по его мнению, служило для скрипок чем-то вроде серебряной медали восемьдесят четвертой пробы.

— Нет, это особенная скрипка... — доказывал Паньша азартно и с непоследовательностью совсем пьяного человека начал рассказывать о каком-то необыкновенном органе, который провозили лет десять тому назад через Мугай одному самодурузаводчику. — Миллион стоил орган-то — уверял Паньша, стараясь сохранить равновесие.

— А сколько соврал, братчик?

— Батышко, отец Андроник, миллион... Своими глазами его видел.

— Может быть, резьба какая-нибудь, — старался догадаться Паганини, желая поверить совсем несбыточной цифре.

— И резьба и прочее, а главное — в органе был один вал:.. сизый!..

Отец Андроник чуть не задохся от смеха: сизый вал действительно был неподражаем. Вранье Паньши развеселило старика, и остаток вечера прошел в самой непринужденной болтовне, причем даже о. Егор оказался совсем не таким уж мозговитым человеком, чтобы его перемозговать нельзя было. Глафиру о. Андроник называл скрипкой и громогласно хохотал на целый квартал, так что

вздрагивали даже стекла в рамах, а бесцветная старушка только охала и крестилась в соседней комнате.

Домой вернулся я поздно ночью. Все кругом давно спало мертвым сном, только глухо гудела фабрика, далеко рассыпая из высоких труб снопы ярких искр. Ярко-красное пламя вырывалось широкими языками из доменных жерл и жадно лизало холодный ночной воздух. Где-то с подавленным визгом резалось холодное железо, и тяжело громыхали чугунные валы, колеса и шестерни, заставляя вздрагивать самую землю, точно по ней кто топал могучей ногой. Распахнув окно на пруд, я долго любовался развертывавшейся далекой горной панорамой, потонувшей в белом тумане... Сверху трепетными волнами лился фосфорический свет, дрожавший и переливавшийся в прозрачной синеве голубого северного неба. Массы гор точно выросли, а зубчатая линия хвойного леса красиво вырезывала ближайшие крутизны и прикрутости. Летние уральские ночи безумно хороши, как хорош бывает молодой крепкий сон, который нагоняет в душу вереницу светлых видений и

чудных призраков. Я долго сидел в своем окне, и в моих ушах еще стояла стонавшая мелодия «Раззоренной».

На берегу сидела какая-то счастливая парочка, слышался шепот и сдержанный смех, а там, за прудом, кто-то неистово кричал «караул», как может кричать только человек, которого режут.

В Мугайском заводе мне пришлось прожить несколько дней. Между прочим, мне нужно было достать кое-какие статистические сведения из метрических книг. Обратился я было к Андронику, но тот только рукой махнул и послал меня к Егорке. Делать: нечего, прямо от Андроника я пошел к домику о. Георгия, стоявшему рядом с избушкой Паныпи. Эта избушка сильно покосилась и одним углом совсем вросла в землю; крыша сквозила прогнившими дырами, одно окно было заклеено синей сахарной бумагой, точно подбитый глаз. Рядом с этим разлагавшимся убожеством чистенький домик, в котором обитал о. Георгий, производил самое приятное впечатление: новенький, с светлыми окнами, с железной крышей, с белыми занавесками и левкоями на подоконниках, он так и дышал жизнью и довольством. Отворив маленькую калитку, я очутился во дворе, по которому ходил сам о. Георгий, разговаривая с каким-то мужиком. Мужик был без шапки и самым убедительным образом упрашивал батюшку

сбавить цену за венчание сына.

— Не могу, мой друг, — мягко объяснял батюшка, не замечая, меня. — Никак не могу... Если сбавлю тебе, должен буду сбавлять и другим. Понял?

— Андроник дешевле венчает... — говорил «друг мой», почесывая в затылке.

— Что же, я очень рад... Ты и обратись к отцу Андронику. А я не могу. Эту неделю я служу, а ты подожди следующей...

— Отец Егор, развяжи ты мне руки, ради истинного Христа! — взмолился наконец мужик, хлопая себя руками по бедрам. — Ах, какой ты, право... Время-то теперь какое... а?... Ведь страда настанет, каждый час дорог, а ты: «подожди неделю»... Да в неделю-то...

— Не могу, не могу, друг мой...

Заметив меня, о. Георгий немного смутился и, сказав мужику, чтобы он приходил в другой раз, пытливо посмотрел на меня своими иззелена-серыми глазами и проговорил самым любезным тоном:

— С кем имею честь говорить?

Я назвал себя и коротко объяснил цель моего посещения.

— А., очень рад, очень рад!.. — торопливо заговорил о. Георгий, крепко пожимая мою руку. — Буду совершенно счастлив, если чем-нибудь могу быть вам полезен.. Я тоже немножко занимаюсь статистикой. Пойдемте в комнаты.

Батюшка направился к новенькому крылечку, блестящему самой благочестивой чистотой. Сам о. Георгий был еще совсем юноша, лет двадцати пяти, не больше, с бледным, красивым) лицом и окладистой русой бородкой. Белый пикейный подрясник облегал его длинную, сухощавую фигуру самым благообразным образом, так что о. Георгий меньше всего походил на русского попа. Крахмальные, безукоризненно белые воротнички и летние панталоны из чесучи, выставлявшиеся из-под подрясника, красноречиво свидетельствовали о несомненной принадлежности о. Георгия к новому типу русских батюшек. Голос у о. Георгия был мягкий и певучий, не то, что хриплая, перепитая октава о. Андроника; двигался он неслышными, торопливыми шагами, как монастырская послушница. Вообще, первое впечатление о. Георгий

произвел самое подкупающее, только выражение бледного лица было неподвижно, улыбка неестественно Ласкова, и взгляд больших глаз холоден. Забежав немного вперед, о. Георгий с предупредительностью отворил мне дверь в небольшую темную переднюю, а оттуда, через чистенькую гостиную с роялем у одной стены, провел в свой кабинет — светлую угловую комнату. Здесь все дышало такой милой, рабочей и серьезной простотой: у окна стоял письменный стол, заваленный бумагами и кабинетными безделушками; у дверей шкаф с книгами в дальнем конце виднелись мягкая кушетка и круглый лакированный столик с раскрытой книгой и яшмовой пепельницей. Мягкий ковер у письменного стола и глубокое рабочее кресло довершали картину. Все было мило, прилично, ничего лишнего и уж совсем не по-поповски, как у о. Андроника; маленькое исключение представляли только висевшие на стенах премии «Нивы», но против этих премий бессильно борется целая Россия, а о. Георгию такое неведомое мещанство и бог простит.

— Садитесь вот сюда... — заговорил о. Георгий.

гий и еще раз выразил свое удовольствие быть полезным. — Я сам занимался некоторое время статистикой, но, знаете, разные служебные обязанности и житейские дразги совсем отвлекли меня от этих занятий.

Без лишних приступов о. Георгий прямо приступил к делу, то есть отправился к своему книгохранилищу и извлек оттуда целую кипу метрических книг, разных сводов, выборок и реестриков. Чистенькие, опрятные листочки были усыпаны рядами и колоннами цифр с итогами, средними выводами и различными математическими выкладками. Больше всего меня поразило в о. Георгии то обстоятельство, что он совсем не выпрашивал меня, кто я такой, откуда приехал, зачем мне эти цифры и т. д. Всякий другой провинциал на его месте вытянул бы все жилы, пока не разузнал бы всю подноготную до седьмого колена по восходящей и нисходящей линии, но о. Георгий держался настоящим европейцем и все время говорил только о деле. Вообще батюшка оказался очень развитым человеком, понюхавшим от всего; говорил он складно и просто, хотя в его речи и проскаки-

вали некоторые поповские словечки, как «любочестие», «благоначинание» и др. Особенно затрудняли о. Георгия ударения на некоторые слова, и, несмотря на все усилия говорить вполне правильно, он произносил; «случай», «средства», «предмет», «Современные Известия» и т. п. Но этот маленький недостаток вполне выкупался всеми другими достоинствами. Когда я преисполнился невольного уважения к о. Георгию и даже усомнился в истине нападок на него попа Андроника, он проговорил с нерешительной улыбкой:

— Я и в литературе пытал счастья... То есть, собственно, не в литературе в общем смысле слова, а просто в наших «Епархиальных Ведомостях», напечатал одну статейку. Я вам сейчас покажу ее.

Порывшись в шкапу, о. Георгий достал перегнутый пополам лист «Епархиальных Ведомостей» и подал его мне, обязательно развернув даже страницу, на которой было начало его статейки.

Я прочел заголовок: «Еще благочестивый крестьянин».

— Конечно, «Еще благочестивый крестьянин» только слабый опыт и не выдержит серьезной критики, — скромничал о. Георгий, пока я пробежал его статейку.

Нам подали кофе. Прилично одетая горничная держала себя с достоинством, как и следует настоящей горничной у настоящих господ. Прихлебывая из своего стакана, о. Георгий долго распространялся на тему о печальном положении русского духовенства.

— Взять хоть ту сцену, свидетелем которой вы невольно сделались, — ораторствовал батюшка. — Что может быть тяжелее? А между тем поставьте себя на мое место... Нужно жить и хочется жить, как все другие трудящиеся люди, а между тем с первых же шагов, встречаешься с этой прозой жизни, в виде разных сборов, платы за требы и прочих дрязг нашей бытовой обстановки. Конечно, во многом, даже очень во многом виноваты и мы сами, что и вызывает относительно нас совершенно справедливые нарекания общества, но, с другой стороны, нужно же войти и в наше положение. Я хочу сказать о том, что необходимо поднять престиж русского духо-

венства, по меньшей мере, до того уровня, на котором стоит духовенство за границей.. Простой народ не уважает попа за его сборы натурой и пятаками, интеллигенция — за необразованность, купечество — за недостаток самоуважения. Мы компрометируем собственный сан из-за пятаков и ложек сметаны!.. По-моему, уж лучше сидеть голодом, чем добывать себе пропитание путем унижения.

В подтверждение своих слов о. Георгий мягко потянулся в своем кресле и хрустнул длинными белыми пальцами.

— Затем, наше духовенство живет слишком изолированной жизнью, — продолжал о. Георгий, ставя стакан на стол. — Мы, точно нарочно, отстраняем себя от всякой иной общественной деятельности, кроме узко-церковной, а между тем этонаша прямая обязанность. Общественные дела, школа, земство — вот на первый раз и широкое поле для труда. Конечно, всякое начало обходится дорого, но нужно же когда-нибудь начинать. Важно, чтобы провести идею целиком, через все мелочи и пустяки...

Вас желает видеть псаломщик, отец Георгий.

гий, — почтительно доложила горничная. -

— Ага. Пусть войдет.

В дверях кабинета показалась протяженно сложенная фигура Паньщи; он оторопел, сдвинул в одно место свои громадные сапоги и напрасно старался удержать в приличном виде расходившиеся полы рыжего подрясника. Рядом с чистенькой и кошачьи опрятной фигурой о. Георгия, скромно охорашивавшегося в своем кресле, Паньша сегодня казался особенно жалок.

— Вы, отец Георгий, прислали за мной служанку... — нерешительно заговорил Паньша, бегая глазами по кабинету.

— Да, да... Вы приготовите к завтрашнему дню ведомость о родившихся и передадите ее вот им, — мягко проговорил о. Георгий, указывая глазами на меня.

— А я, отец Георгий, думал... мы с отцом Андроником собрались рыбки побродить, так я хотел уволиться у вас...

Паньша засопел носом и смолк, только пальцы руки, придерживавшие измызганный и захватанный край полы, усиленно перебирали какой-то лихорадочный мотив. В

ответ на этот протест о. Георгий только Немного приподнял свои плечи и покачал укоризненно головой.

— Я вас не задерживаю с отцом Андроником но лучше было бы сначала представить ведомость о родившихся, — прибавил о. Георгий. — Ваша рыба, может, и подождет...

Паньша переложил свою шапку из руки в руку и с унынием уперся глазами в угол. «Вот тебе, дескать, о. Андроник, и рыбка... набродишь с ним!»

Когда Паньша. удалился, вернее, выпятился в дверь, о. Георгий улыбнулся с печальным достоинством.

Вот вам наше духовенство... полюбуйтесь!.. «Рыбку побродить»! Нечего сказать, хорошо... Впрочем), *nomina odiosa sunt*[5] это "только к слову сказал.

Я стал прощаться. В гостинной мы встретили жену о. Георгия, молоденькую и красивую даму, о которой поп Андроник говорил, что у о. Егора и «попадья с музыкой», потому что матушка играла на рояле. Молоденькая матушка хотя была тоже духовного родопроисхождения, но держала себя, как подобает на-

стоящей светской даме. Летнее серенькое ба-режевое платье обрисовывало красивую мо-лодую фигуру очень эффектно, скромная от-делка была подобрана со вкусом, целомудрен-ной белизны воротнички и манжеты свиде-тельствовали о том, что матушка не жила живмя на кухне, как другие попадьи. Безуко-ризненные манеры и строго-приветливое ли-цо матушки досказывали то, что и она вполне разделяла мнение мужа о необходимости поднятия престижа русского духовенства.

— Оставайтесь обедать, — предлагала ма-тушка. — Мы обедаем рано... по-деревенски.

Мне оставалось только поблагодарить за любезное приглашение, которого принять я не мог. Для первого раза было слишком много любезностей, которых я ничем не заслужил, так что мне сделалось даже немножко совест-но. Пожав маленькую, выхоленную ручку эмансипированной попадейки, я удалился с миром.

К моему удивлению, Паньша ждал меня за воротами. А мы с Андроником рыбку было со-брались побродить... заговорил он, тяжело шаркая своими громадными сапогами и по

пути раскуривая крючок злейшей крупки, известной в бурсе под названием «сам-кроше».

— Я могу подождать с ведомостью, — объяснил я, стараясь утешить огорченного Паньшу.

— А если он узнает? Еще, пожалуй, на поклонь поставит... Бедовый он у нас.

— Уж не знаю, как мне быть.

— Вот что, у меня блеснула искра, — с оживлением заговорил Паньша. — Он вас непременно спросит о ведомости, а вы ему скажите, что получили сегодня.

— Хорошо.

— Покорно вас благодарю! — растроганным голосом проговорил Паньша и, схватив мою руку, неожиданно поцеловал ее. — Таковую уху заварим с Андроником да с Паганини...

От меня Паньша перешел на другую сторону улицы и, подобрав полы подрясника, болтавшиеся по бокам как подшибленные у птицы крылья, одним махом перебросил свое протяженно сложенное тело через прясло в чей-то огород, где и пропал.

Я знал попа Андроника больше десяти лет.

Это был истинно русский человек, без всякой примеси, и, как в каждом истинно русском человеке, достоинства и недостатки в попе Андронике представляли собой самую пеструю смесь. В одно и то же время оригинальный старик был хитер и наивен, добр и скуп, хотя не старался скрывать своих недостатков и не выставлял напоказ добродетелей. Ум у о. Андроника был от природы сильный, но совсем не тронутый образованием, как неотшлифованный драгоценный камень. В его разговоре всегда звучала ироническая нотка, причем он чаще всего смеялся над самим же собой. Прибавьте к этому безграничное добродушие, в котором, как в воде, растворялось и тонуло все остальное. Бурсацкая закваска настолько въелась в попа Андроника, что он совсем не замечал ее и оставался старым, закоренелым бурсаком, не поддаваясь никаким новым веяниям и знамениям времени. «Меня еще в деревянной колодке водили в бурсе-то, — рассказывал старик в веселую минуту, — а все за матушку-водочку... Поймали пьяного, сначала отодрали, как Сидорову козу, а потом на шею завинтили два деревян-

ных бруса да так и продержали целую неделю. Вот у нас какая была наука-то... Нынче уж, пожалуй, и в острогах так не держат, как нас учили!»

Колодка, это варварское, чисто китайское наказание, в России давно вывелась, но в сибирской буре процветала еще пятьдесят лет назад.

— А в семинарии-то мы, братчик, учились разве по-нынешнему! — рассказывал о. Андроник. — Народ все большой был — велико-возрастие... По тридцати лет бывали лбы, И здоровенный народ. Взять хоть меня: подковы гнул, братчик, двухпудовые гири бросал на крыши. Силища была у меня, как у хорошего черта. В одних тиковых халатиках ходили в семинарии, а зимой в шубах в классе сидели. А каждое воскресенье у нас кулачный бой происходил с мещанами — стена на стену. На масленице как-то, братчик, мы двоих мещан уходили — и недохнули. Одним словом, могучий был народ, не осевки какие-нибудь. Крепко иногда доставалось и нам... Однажды, братчик, один столяр так меня угостил по голове гирькой, что две недели

без памяти вылежал в больнице. Только одно плохо было: все бедный народ был, гроша расколотого за душой не бывало. Как птицы небесные, братчик, жили, и ничего... Бывало, на вакацию нас обозом отправляли, как дрова. Подвод семьдесят наберут, нагрузят семинаристами и повезут. Неделю в обозе-то плывешь: лошадь везет, а кусать нечего. "Сами должны были промышлять пропитание... Уж нас знали по тракту: как обоз с семинаристами в деревню, бабы все двери на запор, потому гусь попал — гуся в мешок, поросенок — и поросенка туда же, хлеба, овоща, молока. Силой так и отбираем, как разбойники хорошие. Ведь нас орда валит человек в полтораста, ничего не поделаешь... И головы только, братчик, были!.. Маленькие деревни такмы приступом брали... Ну, раз и нам Досталось на орехи. Ехали мы мимо одной татарской деревни, — большая деревня, а у татар какой-то праздник случись — ну, ураза по-ихнему. Хорошо. Едем мы мимо мечети, а в мечети народ алле молится. Тут кому-то и пади в голову: схватил мешок с двумя поросятами, забежал в мечеть да мешок и бросил по самой се-

редине. Сделали мы это дело, а потом и видим, братчики, что неладно сделали... Отмолятся татаришки, в погоню за нами ударятся, а на обозе не уекочишь. Ямщики сильно струхнули... Ну, выпили ведро водки для храбрости и ползем по дороге. Только вдруг, слышим, погоня: вся деревня за нами гонится на вершных. Человек сто татаришек так и мчатся на нас, — кричат, нагайками машут. Дреколье разное с ними... Ну, мы были не плохи: телеги сдвинули стеной, а сами за телегами засели, тоже с дрекольем да с камнями. И началась, братчик, настоящая битва: едва мы живы ушли тогда... Больно злы эти татаришки, так с ножами и лезут на нас. Крепко нам досталось... Кому глаз подбили, кому спину отшибли, кому голову... настоящее поле на брани убиенных!..

Паньша во многих отношениях был полной противоположностью о. Андроника и, вероятно, в силу такой противоположности питал к старику какую-то собачью привязанность. Сам по себе Памыпа являлся тем, что принято называть широкой русской натурой; широчайшая бесхарактерность и непреодо-

лимая страсть к водке сделали из Паньши неудачника и вечного дьячка. Он был умен, изворотлив, находчив, умел польстить, но при благоприятных обстоятельствах обнаруживал все признаки самой черной неблагодарности, хитрил, обманывал и продавал. Особенностью Паньши в этих качествах было то, что он, всегда действовал «под наитием» или когда в его голове «блеснет искра». Мугайская церковь имела при себе большой причт, причем попы, дьяконы, дьячки вечно рознили, и Паньша являлся великим дельцом в сфере этой внутренней политики — обманывал, подстрекал, наушничал и просто клеветал. В своей роли он являлся неподражаемым и даже обнаруживал какуюто поэтическую складку, когда приходилось изобретать что-нибудь необыкновенное. Как оправдание, Паньша мог бы привести свое затаенное желание как-нибудь сделаться дьяконом, — это желание превратилось у него в настоящую *idée fixe*. [6] Но дьяконство, за разными независящими обстоятельствами, както всегда ускользало из-под самого носу Паньши: то Паньша подерется в пьяном виде, то срубит

попу, то крепко побьет жену — одним словом, вечно устроит что-нибудь самое неудобосказуемое, а начальство все это мотает да мотает себе на ус. Сближение Паньши с о. Андроником и с учителем рассматривалось заводскими политиками, как явный заговор против новенького «неопытного священника».

## IV

**В** Мугайском заводе я пробыл недели две, а затем уехал в другую часть Урала, но года через полтора, после рождества, мне опять пришлось заехать к Фатевне.

Вид на Мугайский завод зимой был самый печальный, потому что все домики и даже фабрика точно утонули в глубоком снегу.

Небольшие избушки совсем исчезали в сугробах снега, и только к воротам у хороших хозяев были прогребены в снегу глубокие траншеи; из окон таких избушек не видно улицы в течение целых шести месяцев. Домик Фатевны стоял на самом пору, и северо-восточный ветер наметал вокруг него громадные снежные завалы, так что во двор нам приходилось въехать, точно в яму. Расчищать снег вокруг дома Фатевна считала излишней роскошью, потому что все равно в первую же пургу наметет вдвое больше, — значит, супротив бога не пойдешь, а только даром деньги изводить на снеговые раскопки.

— И в самый ты час, дева, приехал! —

встретила меня Фатевна, появляясь на крыльчке в двух шубах.

— А что? — спрашивал я, с трудом вылезая из глубокой кошевой.

— Да уж так... Пойдем в горницы, там сам увидишь. Сугробно ехать-то было, поди?.. Невпроворот нынешним годом снега напали: со всем замело.

В следующей комнате я, к своему удивлению, встретил Помпея Агафоныча Краснопевцева, который был одет по-домашнему, в каком-то пестром халате.

— Узнал? — спрашивала Фатевна меня, забегая вперед. — На фатере у меня стоит теперь... Как же!.. Ну, уж говорить, что ли, всю правду, Агафоныч? А?..

— Говори, если язык чешется, — угрюмо отозвался Паганини, вспыхнув до ушей.

— И скажу, дева... Разве это худое что-нибудь? Ты уж поздравь нас, — обратилась Фатевна ко мне. — В женихах у нас Помпей-то Агафоныч живет... Вот те истинный Христос!.. В закон вступить хочет...

— А на ком он женится? — спросил я.

— Как на ком, дева? На Феклисте моей...

(Как же!.. Второй месяц теперь приданое ей проворим с Глафирой. В настоящем виде свадьбу справляем, как следует быть свадьбе... Обручение уж было... Отец Егор и благословлял жениха с невестой.

— Будет тебе молоть-то, Фатевна! — огрызнулся Паганини, начиная терять терпение. — Ступай лучше насчет самовара орудуй...

Фатевна самодовольно посмотрела на будущего зятя своими ястребиными глазами: дескать, вот, погляди-ка, какого я зятька для Феклисты обработала, — в лучшем виде... В ее обращении с Помпеем так и сквозило то особенное чувство собственности, с каким все женщины относятся к своим вещами очевидно, Паганини попал в движимое имущество Фатевны. И ситцевый сарафан сидел на Фатевне как-то не так, как раньше, и лицо точно помолодело, и повертывалась она еще быстрее прежнего, — видимо, она переживала свою самую счастливую минуту, как баба по преимуществу, для которой вступление Феклисты в закон являлось настоящим торжеством. Направившись к двери, Фатевна вернулась с полдороги и, уставив руки в боки,

проговорила:

— А ведь мы с попом-то Андроником опять вздорим... Ейбогу, дева!.. Так вздорим, так вздорим... страсть!..

— Знаю, что вздорите... Это все из-за той лошади, которую ты купила тогда у отца Андроника за пятьдесят рублей и продала за сто?

— Бона... хватился!.. Мы уж после того помирились и опять рассорились, и тоже из-за лошади все дело вышло. Как же, дева, я лошадку продала попу-то Андронику, семьдесят целковых взяла, а ему лошадь-то и не поглянись... Ей-богу!.. Он мне сейчас лошадь назад, а я деньги не отдаю; шире, дале — и пошло, и пошло.

— Лошадь, вероятно, была скверная?

— Лошадь? Ну уж, дева, ты это врешь... Лошадь первый сорт. Я на ней верхом по всему заводу ездила: картина, а не лошадь... Ну, а поп-то Андроник хоть до коней и большой охотник, а толку не хватает... Новокупка-то у него совсем от рук отбилась, теперь способу с ней никакого нет. Да и куда Андронику с конями возиться, когда у него брюхо вон какое, точно тройней собирается родить!

— Да уж что тут попусту болтать, — заметил Паганини, — надула ты Андроника лошадью, и вся тут...

— Я? Да вот сейчас на этом самом месте... с места вот мне не сойти, ежели я от Андроника хоть на синь-порох попользовалась, дева!..

— Не божись, Фатевна, и в долг поверим...

— Лошадь-то какая была: угодница... Каряя с ремнем во всю спину, и ушки поротые. Пашистая она была маненько и на бабки у задних ног садилась, ну, а все-таки настоящая лошадь: хоть воду, хоть воеводу вози. А штобы я стала надувать отца духовного лошадью, — уж это ты напраслиной обносишь меня. Теперь-то Андроник ее, конечно, извел: приступу к лошади нет — так задними и передними ногами и хлещет и зубами хватает. Четверо, слышь, ее едва запрягут! Оказия, дева, каку страсть из этакой смирящей лошади сделают... Вот те Христос!..

Мы с Паганини долго смеялись над Фатевной, которая никогда и ни в чем не была виновата.

— И ведь все врет: от первого до последне-

го слова, — уверял Паганини, когда я по комнате разминал ноги.

— То есть относительно чего врет: относительно лошади или вашей женитьбы?

— Нет, относительно лошади врет, а женитьба — это уж совсем другое...

Помпей Агафоныч сделался мрачен и замолчал; пока Фатевна воздвигала на стол кипевший самовар со всеми его атрибутами, он шагал из угла в угол, как маятник. Собственно, чайной частью заведовала Феклиста, но сегодня она не показывалась почему-то. Когда на столе появилась семга и бутылка водки, мы в торжественном молчании приступили к трапезе. Паганини опрокинул сразу две рюмки и долго прожевывал ломтик соленой рыбы. Самовар шумел, как самый радушный хозяин, который не знает, чем угостить дорогих гостей; в комнате сделалось еще теплее, и окна отпотели. Короткий зимний день кончался, и с улицы глядела ветреная и холодная зимняя ночь. Мы долго сидели в полутьме, наслаждаясь тем сибирским кейфом, который называется сумерничаньем. Там сейчас, за стеной, бушевала снежная вьюга, где-то да-

леко-далеко подвывала волчья стая, а здесь было так тепло и уютно! Согревшись после дороги, я чувствовал во всем теле ту приятную истому, когда крепкий, здоровый сон вяжет человека, как веревками. Глаза слипались сами собой, самовар запускал отдельные пискливые ноты и вдруг их обрывал, точно пробовал какую-то позабытую мелодию; Паганини жег одну папироску за другой, прихлебывал из стакана чай и упорно молчал, как запертый шкаф.

— А ведь дело дрянь... — проговорил наконец Паганини, зажигая оплывшую сальную свечу в высоком медном подсвечнике.

Длинное, худощавое лицо учителя было покрыто красными пятнами; длинные волосы падали на узкий белый лоб какимито косицами, но в этом странном лице было что-то симпатичное. Есть такие некрасивые люди, которых как-то не заметишь с первого раза, а потом полюбишь их всей душой. К таким людям принадлежал и Помпей Агафонич. Он и держал себя както особенно — постоянно в сторонке, точно все боялся чегонибудь, особенно, если в комнате был новый человек.

— А что? — спросил я.

— Подлость... — коротко ответил Паганини, бросая на пол недокуренную папиросу. — Представьте себе, ведь Андроника просто сжигают со свету... Да. Все отец Егор подсжигает. — Два раза уж суд наезжал на Андроника; ну, конечно, ихний же, поповский суд, а теперь третьего ждать нужно. Андроник-то два раза сам в губернию ездил, консисторию замазывать.

— Да в чем у них дело-то?

— Вот в том-то и штука, что, собственно, даже дела никакого не вышло, а так, рознят — и вся тут... Это всегда, положим, было, но отец Егор задушил консисторию жалобами. А теперь еще переманил на свою сторону Паньшу... Помните?

— Как же, отлично помню: еще усмирлял тогда собаку у отца Андроника...

— Да, да... И, представьте себе, этот самый Паньша, который живмя жил у отца Андроника, теперь против него же, а отцу Егору это и на руку, потому что Паньша является главным свидетелем против отца Андроника. Ведь он знает всю подноготную про стари-

ка, — этим отец Егор и воспользовался... Теперь идет такая кляуза у них, что не приведи, господи.

Учитель опять заходил по комнате и несколько раз поправлял свои длинные волосы, точно они мешали ему думать. Измена Паньши произвела на меня тяжелое впечатление, что я и высказал.

— Я сначала то же самое думал, что и вы, — ответил Паганини, наливая рюмку. — Но теперь я несколько изменил свой взгляд. — Да... Время такое подлое... А что значит какой-нибудь отец Егор или Паньша, взятые отдельно? Решительно ничего, даже говорить не стоит, кроме того, что плюнуть на них. Но совсем другой вопрос получается, если мы взглянем на дело шире: прежде такие кляузники являлись исключениями, а теперь они перешли в общее правило.

Выпив рюмку водки, Паганини горячо заговорил о новом типе батюшек, представителем которых являлся о. Георгий.

— Ведь он везде пролезет, уверяю вас! — горячился Паганини, взмахивая руками, как ветряная мельница. — Ему до всего дело, его

езде спрашивают... И все эти молодые попки на одну колодку! В земство лезут, в школы, в волость и везде проводят свои идеи: забрать понемногу в руки и то, и другое, и пятое, и десятое. Взять теперь хоть школы: где новый батюшка завелся, учитель держи ухо востро... Особенно учительницам достается от этих батюшек... Прежним попам, вроде Андроника, тогда узнают цену, когда их не будет... До сих пор в старых попах видели только одни смешные стороны, а хороших никто не хотел замечать. Посмотрите на Андроника: ведь это натура, настоящая, цельная натура, у которой все оригинально, все по-своему.; Он сам навязывает себе такие недостатки, о каких новые батюшки благоразумно умалчивают. Даже самая необразованность и неотесанность старых попов имела свою хорошую сторону: раз — они стояли ближе к мужику, а второе — довольствовались самой скромной обстановкой и привычками... Новые батюшки будут ближе стоять к образованным и зажиточным классам, но они совсем разойдутся с народом, которому главным образом и должны были бы служить. Даже сравнительно большое раз-

витие умственное и внешняя отесанность являются здесь новым злом. Вот подите вы, какая штука выходит... Я не говорю об исключениях, об единицах, которые везде найдутся, но важен общий характер, самый тон движения.

Мы долго проговорили о трудных временах и о текущих мутайских событиях. Паганини все пил, рюмку за рюмкой, и наконец совсем опьянел, так что не мог уже ходить по комнате, а сидел на диване, придерживаясь за его ручку. Наша сальная свеча давно нагорела и сильно оплыла; в комнате было накурено; меня «долил сон».

— Послушайте... ведь вы меня считаете за подлеца... да!.. — неожиданно проговорил Паганини после длинной паузы. — Я ведь это чувствую...

— Что вы, Помпей Агафоныч... С какой это стати!

— Отлично вижу... Что я такое... а? Жених Феклисты... будущий зять Фатовны... Ха-ха!.. Я вам расскажу все, как было... — продолжал Паганини с откровенностью пьяного человека. — Да... даже очень просто вышло. А впро-

чем, вы, может быть, думаете, что я опьянел и сдуру болтаю?.. Не-ет...

Паганини тихо засмеялся, сделал бессильное движение подняться с дивана и опять сел, мотнув головой, как теленок.

— Вы думаете, что это моя первая любовь... Ха-ха!.. Да... Феклиста... Позвольте, вы, может быть, полагаете, что я женюсь на этом уроде из-за денег? Домом Фатевны хочу завладеть?.. Н-нет, ошибаетесь... Да. Я должен жениться, поелику... одним словом, грех покрыть законом нужно. Как же... свой же и грех-то... Осенью дело было. На вечеринке встретился с Феклистой... ну, выпил, а потом вот очутился здесь да и не выходил отсюда. А теперь Феклиста в таком положении, что я, как честный человек, должен вступить с ней в закон... А Фатевна радуется... цепочку серебряную мне подарила... как же... Ежели разобрать, так я, собственно, даже не стою Феклисты... Ейбогу!.. Она глупа, как соленая рыба, но хорошая девушка и любит меня по-своему. А позвольте, вы меня все-таки считаете подлецом?

— Нет, зачем же?.. Какое кому дело до вашей интимной жизни!

— Вот именно... благодарю. Да... А признаться сказать, была у меня одна маленькая страстишка... Съезд был учительский, а на съезд приехала одна новенькая учительница... Из дворяночек она, из бедных... С матерью живет... И славная такая, беленькая вся да нежная... и ручки белые, маленькие, а сама еще совсем почти ребенок. Ну, а тут и пришлось свой хлеб горбом добывать, Да попала она в глушь, Куда ворон костей не носит... Скучно, жить хочется. В таком Положении за одно ласковое слово человек душу отдаст... Ну, встретились, Познакомились... Славная она Такая, умненькая... так в глаза и смюрит... Хорошо. Как-то мы гуляли с ней вечером, она и говорит: «Женитесь на мне, Помпей Агафоныч...» А сама как заплачет, по-ребячьи так заплачет. Ах, как мне тогда было жаль ее... Нет, и Теперь жаль... Вся она беленькая такая, и платье на ней было белое. Умела она это сделать все, то есть одеться к лицу и всякое прочее... Дворянская косточка, у них в крови уж это. И звали ее Ниной... Да, Ниночка... Ха-ха!.. Феклиста и Ниночка... Я эту беленькую Ниночку в белом платье как-то

сразу полюбил, так и хожу за ней, как очумелый, а она все целует меня... урода такого целует... Решил я на ней жениться совсем и слово ей дал... Хорошо. А потом пришел к себе на квартиру и целую ночь не спал... мысли одолели... даже плакал... Очень уж она мне полюбилась, — рука не поднималась загубить. Ну, куда с ней повернусь, когда у меня всего и жалованьишка двадцать пять рублей, да с этими двадцатью пятью и помру... Да еще вот запиваю я частенько, в обхождении груб... Ну, а там детишки полезут... Ниночке-то и пришлось бы корову доить, и полы самой мыть, и всякую грязь тащить на себе... Это с ее-то ручками! Отлично я представлял себе эту Ниночку своей женой... в прозе-то самой представлял: как и личико у ней потухнет, и ручки загрубеют, и сама она сделается такой жалкой... Вот тогда я и рассудил, что не имею права губить ее из-за своего личного чувства, а что она мне сама болтала, так это от жизни от тяжелой... Думал я тогда, что — встретит Ниночка лучше меня кого-нибудь, — зачем же еето счастьем мешать? Да... Написал ей письмо, все написал и взял свое слово назад, а она

мне послала свой локон... Белые, у ней волосы с этаким золотым отливом...

Паганини махнул рукой и опять потянулся к рюмке.

— А теперь где эта Ниночка? — спросил я.

— Ниночка?.. Пропала ни за грош... да. Встретилась она; вскоре после меня с одним хорошим человеком, который ее обманул... а потом она и пошла чертить. Теперь где-то на приисках болтается. Да... точно вот сон какой вижу... А вы, млстивый гсдарь, все-таки считаете меня за подлеца?.. Да?.. А ведь я в семинарии кончил, батенька, как же... В попы мог постудить, как отец Егор. Даже мог бы написать «И еще благочестивый крестьянин». Ха-ха!.. А оно вон что вышло... Феклистин муж! Да... Работать хотелось, убеждения проводить в жизнь... А вышла вон какая история! Сначала-то я ведь долго не пил, все крепился, а тут как-то вдруг... это после Ниночки уж пошло... На все рукой махнул. А знаете, что я вам скажу; вот вы слушаете меня, а не понимаете... и другой никто не поймет. Нужно в нашу учительскую кожу влезть... Вот посидите-ка так, в четырех стенах, восемь зимних месяцев, —

тогда такая одурь возьмет, такая одурь... точно вот червяк какой сосет тебя... Ей-богу, так и сосет день и ночь... А вот Андроник отлично понимает... он все понимает... Ох, какая это душа... золотая душа!.. Это он только с виду этаким чертом-иванычем выглядит, а он все понимает... Да-а... Он хоть и хвалится своим поповским житьем и любит деньги, а тоже его сосет... Вот она, жизнь-то наша, как складывается: подлостей делать не хочется, а настоящим человеком, как в книжках-то пишут, прожить не умеем.

Когда Паганини заснул на своем диване, в комнату на носочках вошла Фатевна и шепотом осведомилась относительно ужина.

— Очень он к водке слаб, — заметила она про своего будущего зятя. — Ну, да женится — переменится!.. Это он теперь от своего холостого житья слабостями-то занимается, а после не до того будет. А что, он не жаловался тебе на свое-то житье?..

— Нет, ничего...

Фатевна испытующе посмотрела на меня своим ястребиным оком и продолжала прежним полусшепотом:

— А уж я, признаться тебе сказать, даже струсила, как ты приехал к нам... Вот-те Христос, дева!.. Думаю про себя, как примешься ты его расстраивать, примешься расстраивать...

— То есть как расстраивать?

— А так, как женихов расстраивают... То да се, и невеста из мужичек, и всякое прочее, дескать, на поповне жениться лучше. Ведь я это даже весьма понимаю, что Агафоныч хотя и дьяконский сын, а совсем на господском положении, в том роде, как настоящий барин. Вон к управителю в гости ходит... Как же!.. Ну, с нами-то ему скучно покажется... Вот я и боялась, дева, а сказать-то тебе позабыла, что думаю я в третью гильдию записаться. Да, все же купчиха буду, дева... И Агафонычу не совестно будет перед другими, потому как в том роде, что на купеческой дочери женат. Оно гораздо даже любопытнее... А ведь я как за ним, за Агафонычем-то, ухаживаю — с ног сбилась. Теперь с осени считать, одной водки третье ведро идет... Ни в чем не стесняю, дева, пусть побалуется, а там уж как господь пошлет, духовную обещала на него записать —

и дом, и лавку, и всякое прочее обзаведение.

На улице по-прежнему бушевала снежная пурга; ветер с остервенением рвал ставни, завывал в трубе и горстями разбрасывал во все стороны сухой снег, точно толченное стекло. Помпей, не раздеваясь, уснул на диване, тяжело храпел и несколько раз начинал бредить. Из кухни, где, собственно, жила Фатевна, долго доносился какой-то неопределенный стук и сдержанный говор. До моих ушей донеслась обрывком ядовитая ругань, какой Фатевна имела привычку на сон грядущий прощаться с Денисычем. «Пропasti на тебя нет... — ругалась Фатевна. — Хлеб-от умеешь есть, а почему он ноне, «а?.. Вон теперь сколько денег издержала опять на приданое Феклисте: легкое место вымолвить, — как в яму, так деньги и валишь. Водки одной...» Я отлично представлял себе убитую и точно выжатую фигуру Денисыча, который в покорном молчании выслушивал град сыпавшихся на него попреков. Наверно, он целый день проработал на морозе, продрог и, грея на печке свои смиренные кости, от души завидовал своему будущему зятю, Агафону, который трескает

третье ведро водки... Хорошо бы пропустить стаканчик — другой с холоду, так бы хорошо, а то Фатевна с голоду не уморит — досыта не накормит. Наверно, Денисыч слышал, как мы с Помпеем пили водку, и завидовал нам... А может быть, этот непроницаемый человек думал и свою думу: вот, дескать, погоди, Помпей Агафоныч, отойдет и тебе масленица, как попадешь в закон. Фатевна-то завяжет тебя узлом, а потом и Феклиста заберет свою волю и так же будет тебя — поедом есть по вечерам.

Мне вдруг сделалось страшно за беззаботно спавшего Паганини, который попал в это ястребиное гнездо, где все было так крепко и туго прилажено: погибнет он окончательно в новой обстановке «Феклистина мужа». А буря все выла на улице свою бесконечную песню, и ветер неистово гулял по улицам, взрывая тучи снежной пыли. Лежа с закрытыми глазами, я чувствовал, как под порывами этого ветра вздрагивал весь дом Фатевны, точно на улице бродил какой-то исполин сумасшедший, который напрасно старался в слепой ярости безумного все разрушить кругом се-

бя...

Вот чья-то громадная рука обшаривает угол дома, пробует обшивку, задевает по пути за ставень; вот та же рука толкнула ворота.,, вот загремело железо на крыше, завывло в трубе, а он уже далеко, и только сквозь бурю доносится с улицы его безумный хохот, и стоны, и опять хохот. Иллюзия получилась поразительная: вот опять кто-то крадется возле самой стены дома... вот остановился, и слышно, как хрустит снег под ногами, а потом кто-то опрометью бросился под гору, на пруд, где белой стеной ходит снежная пыль, и все звуки тонут в одной надрывающей душу ноте, именно сумасшедшей ноте...

Справивши кое-какие свои дела, я отправился к о. Андронику. Заложив руки за широкую спину, он, по обыкновению в одном жилете тяжело ходил из угла в угол по своей парадной гостиной и, видимо, был не в духе.

— Ну, что, братчик, новенького на белом свете делается? — спрашивал старик, грузно повертываясь на каблуках.

— Да особенного ничего, отец Андроник.

Разговор не вязался; я, очевидно, явился тем гостем не в пору, который хуже татарина. Старику было не до гостей, а до себя. Посидев с четверть часа, я начал прощаться.

— Пстой, братчик, — остановил меня о. Андроник. — Я сейчас... только за разговором схожу.

Он улыбнулся и, подмигнув, отправился в заветную темную каморочку, где у него хранились наливки. Через минуту он вернулся с двумя бутылками и по пути заказал бесцветной старушке подать закуску. Это и был «разговор». Мы молча выпили по первой рюмке, причем о. Андроник так крякнул, точно хотел

раздавить диван, на котором восседал. По наружности он за метно изменился: лицо совсем заплыло, под глазами появились мешки, вся фигура как-то обрюзгла и опустилась. Обыкновенно при гостях о. Андроник из вежливости надевал сейчас же подрясник, а теперь оставался в овоем жилете.

— Ты у Фатевны опять остановился? — спрашивал старик, грузно отпыхивая. — Ах, шельма, как она меня оплела опять... Рассказывала, поди?.. Такую пропастину мне всучила, что просто срам. Ведь не денег жаль, а совесть зазрит: где глаза у старого черта были... Ей-богу, из-за проклятой лошади теперь и дома больше сижу. Глаза в люди стыдно показать, потому сейчас все в голос: «С покупочкой, отец Андроник»...

— Зачем же вы у Фатевны покупали: ведь она уж раз обманула вас лошадью?

— Зачем? А враг-то силен... да. Я и другим всем заказывал, чтобы подальше от этой шельмы, а сам и пришел к ней. Так и зашел из любопытства, как она меня обманывать будет... Ну, она и выведи эту самую карюю лошадь: села на нее верхом — прогнала улицу;

потом сама запрягла ее, — опять по улице шаркнула. И лошадь только: так и стелет, так и рубит! Так она мне понравилась, эта лошадь, что сам вздумал ее попробовать, конечно, для любопытства, — еще лучше у меня бежит... Тут меня враг и попутал: на семидесяти целковых и по рукам ударили. А как привел покупку домой, — точно другая лошадь. Ведь вот и поди же ты!.. Уж я думал, не напустила ли она слепоту на меня да другую лошадь и подсунула... Ей-богу, братчик! Приступу нет к лошади — и конец: всеми четырьмя ногами бьет, головой вертит, в оглоблях падает, на дыбы встает... Черт, а не лошадь!..

Рассказывая о своей покупке, о. Андроник сильно оживился.

— Видишь, братчик, эта лошадь уж не проста в мои руки попала, а так...

— Как?

— Да уж так... Оно, братчик, все, как пойдет на одну руку, тут только держись. Слышал про Паньшу-то? Как же, к Егорке переметнулся... И кляузы на меня вместе пишут. Ведь два раза ж суд на меня наезжал, а я и в ус не дую... Вот им всем...

Старик показал пальцами нечто очень вульгарное и рассыпался своим залиvistым хохотом, но сейчас же смолк и нахмурился.

— В чем же у вас дело-то, отец Андроник?

— Да ни в чем... И дела никакого нет, а так, Егорке хочется меня выкурить из Мугая, а я говорю: «Погоди, братчик, еще материно молоко на губах не обсохло»... Вот и все. Сам два раза в консисторию гонял, три сотенных свез кровопийцам.

Отец Андроник выпил несколько рюмок и заметно покраснелся; очевидно, воспоминание о консистории подействовало на него очень неприятно.

— А ведь Егорка-то, братчик, оказывается, поп с оттенком, — проговорил наконец старик после долгой паузы.

— То есть как с оттенком?

— А вот так же... Ты вот послушай, братчик..

Поднявшись с дивана и вытянув левую руку вперед, о. Андроник пригнул первый палец и проговорил:

— Во-первых, Егор»» обвиняет меня в незаконном сожитии с солдатской вдовой Васили-

сой... Это как, по-твоему, братчик? Василиса действительно иногда приходит полы мыть и коз доить, — не самому же мне в полемойки идти и с дойником в хлев ходить! Во-вторых, Егорка обвиняет меня за недозволительную игру светских песен на гитаре. На гитаре я действительно играл, но и царь Давид «скакаше и играя», не то что на гуслах и органех, но и тимпанех доброгласных... Ха-ха!.. Что такое гитара? Как-то действительно Паньша с Паганини пели прошлым летом «Возле речки, возле мосту», а я на гитаре наигрывал. Это точно было, ну, а вины за мной все-таки никакой нет... Только меня одно смущает: и прежде рознь была между попами, а только такого еще не бывало. Ну что я сделал этому Егорке, ежели разобрать? Ничего... Вот меня это и удивляет больше всего! Неисходимая в нем злость, в Егорке-то, вот он меня и таскает по судам. Только, братчик, Егорке ничего не взять с меня: шалишь!

В подтверждение своих слов о. Андроник так ударил кулаком по столу, что бутылки и рюмки зазвенели. Я старался успокоить расходившегося старика, но он еще сильнее раз-

горячился и принялся, со своей стороны, обвинять о. Егора в разных неподобных поступках, которые тут же выдумывал и которым сам первый не верил...

— Только попадись мне в лапы этот Егорка! — уже кричал о. Андроник, бегая по комнате с развевавшимися волосами. — Меня рассердить трудно, а уж как рассержусь — хуже льва, братчик...

— Я несколько раз заходил к о. Андронику после этого, и каждый раз наши разговоры вертелись все около одной и той же темы. Старик сильно храбрился, особенно подкрепившись сстомаха ради и частых недуг», но видно было, что он чувствовал себя не по себе и часто задумывался.

— Нет, братчик, мудрено нынче на свете жить, — повторял о. Андроник несколько раз с тяжелым вздохом. — Уж на что, кажется, я старик, а и то помешал, сживают с места... Конечно, у меня есть свои недостатки: испиваю рюмочку, ну, еще, может, что найдется. Кто без греха, братчик, а только другим-то я никому зла не делал... Эх, братчик, да что тут говорить!.. Если по-человечеству-то взять да рас-

судить: овдовел я на двадцать третьем году, а состав-то у меня вон какой... Те перь-то я разбух, а прежде лошадь за передние ноги поднимал, двухпудовые гири за ворота перекидывал. Да... Егорка пьянством меня корит, а куда бы я с силой-то своей девался, «ели бы не водка?.. Еще спасибо, что она, матушка, силы-то поубавила, а то без беды беда... Все люди, как люди, а ты каким-то гороховым чучелом и живи, да еще все каждый шаг у тебя усчитывают. Конечно, на мне священный сан... Это верно. Только, братчик, есть поговорка, что к мирскому человеку один бес приставлен, а к попу-то семь... Оно так и выходит, ежели разобрать: и то тебе нельзя, и пятое-десятое нельзя... А что Паганини?

— Ничего особенного...

— Свадьба у него перед масленицей?

— Кажется...

— Что же, вполне одобряю, поелику сам господь сказал, что «нехорошо жить человеку одному»... Одобряю, братчик. Что он ко мне-то не заглянет? Ты ему скажи, что я сам бы к нему забрел, да эта... Фатевна там... видеть ее не могу, братчик, — так с души и воротит.

Претит... Да и Егорка у них теперь присутствует, — тоже мне не рука. Я уж больше дома теперь отсиживаюсь, как травленный волк...

Однажды, когда я зашел к о. Андронику, он ходил в старой енотовой шубе по двору. Двое трапезников (церковные сторожа) ввертывали в рогожную кошевку новые оглобли. Очевидно, готовилась торжественная запряжка новокупки.

— Хочешь, прокачу на карьке? — предлагал о. Андроник. — Зима на исходе надо объезжать лошадь, а то совсем от рук отобьется.

Подросток-кучер, каких держат все попы, вывел из конюшни лошадь и, притпрукивая, начал надевать на нее хомут. Это была самая обыкновенная карья лошадь с большой головой и длинными ушами. Она позволила себя ввести в оглобли, но, когда стали затягивать супонь, неожиданно пала во весь бок. Это было только началом представления. Когда совместными усилиями двух трапезников, кучера и самого о. Андроника, ее подняли на ноги и опять поставили в оглобли, она принялась бешено мотать своей головой, бить задними ногами и т. д. Ввиду предстоящей работы о.

Андроник препоясался по шубе широким гарусным шарфом и вооружился новым хлыстом.

— Это для актрисы у меня овес, — смеялся старик, пробуя хлыст. — Я ей убавлю порцию-то, чтобы дурила меньше. Вишь, какое представление задает...У! шельма!..

После долгой возни новокупка наконец была запряжена, но вся дрожала и все оглядывалась назад, как мы будем садиться. Мальчик-кучер стоял у ворот, ожидая момента, когда можно будет их распахнуть. Наконец мы с о. Андроником сидим в кошевой, ворота открыты, и лошадь вихрем выносит нас на улицу, где начинается вторая половина представления. Отец Андроник, намотав вожжи на руки, напрасно старается сдержать ход новокупки, которая скачет по дороге козлом, задрав голову. Наша кошевка летит стрелой по широкой улице к выезду; в нырках нас так встряхивает, что нужно держаться обеими руками за раму экипажа.

— Держи меня, братчик! — просит о. Андроник, откидываясь веем телом назад, чтобы сильнее натянуть вожжи.

Но последние слова он проговорил уже за кошевой, потому что лошадь сделала неожиданный поворот за угол, в другую улицу, и старик выкатился из экипажа, как тыква. Это происшествие окончательно взбесило лошадь, и она понеслась по улице, как стрела. В одном нырке я тоже вылетаю из кошевой, а о. Андроник потащился на вожжах дальше. Через минуту лошадь, кошевая и о. Андроник исчезают на повороте улицы, а я отправляюсь к себе на квартиру, благо катастрофа произошла недалеко от дома Фатевны. Вся шуба у меня в снегу, в одном колене чувствуется боль, и я, ругая новокупку и о. Андроника, подхожу к отворенным воротам своей квартиры. На дворе застаю живую картину: у столба стоит привязанная новокупка, одна оглобля расщеплена, о. Андроник, в разорванной шубе, весь в снегу и без шапки, напрасно старается отбиться от Фатевны и Паганини, которые тащат его под руки в горницу.

— Нет уж, дева, сам приехал, так нечего кочевряжиться!.. — кричит: Фатевна, ухватившись за рукав шубы о. Андроника. — Вон как на тебе одежда-то вся испластана...

— А все твоя лошадь, Фатевна, — ругается старик, уступая силе. — Это не лошадь, а дьявол!..

Костюм у о. Андроника в самом печальном виде: передняя пола шубы изорвана, потому что он проехал на собственном животе целых три улицы; один конец гарусного шарфа оторван, одна нога без калоши. Пока я шел, новопкупка протащила о. Андроника две улицы, прямо повернула к дому Фатевны, где, на беду, ворота были отворены, и втащила о. Андроника во двор самым торжественным образом.

— Тебе, дева, на козлухах ездить, а не на конях, — говорит Фатевна, стаскивая в передней разорванную шубу с гостя.

— Это твоя работа! — огрызается о. Андроник.

— Нет, лошадь-то умная: знает, что сердиться нехорошо, и привезла тебя к нам. Я сейчас самоварчик, отец Андроник, спроворю и всякое прочее. Милости просим, дорогой гостенек. И поговорка такая есть: званый да жданный гость мил хозяину, а нежданный вдвое...

К счастью, о. Андроник отделался только разорванной тубой и легким ушибом левой руки. Особенно серьезных повреждений не оказалось, и после двух рюмок водки старик был в самом хорошем расположении духа. Посланный на разведки Денисыч принес потерянные шапку и калошу.

— Вот и отлично, — торжествовал Паганини, не зная, как ему угощать о. Андроника. — Действительно, лошадь-то недурно сделала... а?

— Подлец ваша лошадь, вот что!.. — уже добродушно гремел о. Андроник, приводя в порядок свою спутанную бороду. — Она меня уже не в первый раз так угощает... А я все-таки держусь на вожжах — и конец делу, так на брюхе за ней и качу.

Примирение о. Андроника и Фатевны состоялось при самой торжественной обстановке, и мы проболтали до позднего вечера, удерживая развеселившегося старика под разными предлогами. Появилась на сцену даже смиренная Глафира, которая прежде всего подошла под благословение к о. Андронику и долго не соглашалась разделить веселую ком-

панию.

. — Да садись, чего ты галеганишься? — упрасивал вместе с другими о. Андроник. — Ведь уж я знаю, что ты меня всего в стихах описала... Да. Ну, признавайся: ведь описала, братчик?..

— Уж какие стихи, отец Андроник! — скромно отзывалась

Глафира, закрывая рот своей костлявой, длинной рукой, — Еле ноги таскаем. Вот теперь с приданным Феклисте с ног сбились... не шутка место! Тоже в закон девиса вступает, надо все выправить форменно... А как у вас новокупка-то, отец Андроник?

— Ох, не спрашивай!.. Камень на шею — вот мне что ваша новокупка, братчик! Ведь ты вместе с Фатевной тогда продавала лошадь... а?

— Не знаю ничего я в этих конях, отец Андроник. Это все Фатевна, у ней спрашивайте... А я действительно видела, как вы покупали лошадку, тогда еще порадовалась. Думаю про себя: веселенькая лошадка досталась отцу Андронику, славная...

Паганини тоже развеселился и несколько

раз проговорил:

— Эх, Паньши-то нет, а то мы такую «Раззоренную» спели бы, что чертям тошно...

— А я на Паньшу не сержусь, братчик, — добродушно басил о. Андроник. — Он не от ума в клеветники обратился... Судить меня с Егоркой хочет... Да. Ежели разобрать, так меня и беспокоить им не следовало бы...

Воспоминание об измене Паньши, как ножом, обрезало веселое настроение о. Андроника, и он начал прощаться. Фатевна, однако, взяла с него слово приехать в гости через день, когда у ней назначен был официальный бал.

Обещать-то я тебе пообещал, — говорил старик, надевая в передней шапку, — а не знаю, может, и обману... Ведь меня в конситорию вызывали опять, а я написал, что болен. Егорка узнает, что я по гостям хожу, наклеязит так, что не расхлебаешь.

— Ну, дева, чего испугался: был нездоров, а тут бог здоровья послал, — успокаивала Фатевна с своей обычной находчивостью. — J А ваши-то суды известные: ворон ворону глаз не выклюет...

— Не те времена, братчик, не те времена. Нынче своего-то бойся пуще чужого...

Чтобы о. Андроник не отказался, Фатевна послала за ним в день бала свою лошадь, и старик волей-неволей приехал. Теперь горницы Фатевны были битком набиты гостями, преимущественно из мелких торговцев и мелких заводских служащих. В одной комнате танцевали кадрили под гармошку, в другой девушки пели песни, в третьей была устроена закуска. В числе гостей был и Паныша, который уже успел лизнуть несколько рюмок, заметно осовел и к каждому слову говорил: «хорошо». Завидев входившего о. Андроника, Паныша отправился за благословением.

— Преподобный отче... благослови! — говорил клеветник, лобызая руку о. Андроника своим дьячковским лобзанием.

— На хорошее бог тебя благословят, братчик, а на худое сам догадаешься! — весело ответил о. Андроник.

— Хорошо... Вы говорите, отче, чтобы на худое я сам догадался... хорошо... Значит, вы подозреваете меня?

— Чего тут подозревать-то? — отрезал ста-

рик. — Вместе с Егоркой кляузы разводите. На том свете вас обоих на один крюк за язык повесят, вот и весь разговор;..

— Вот, отец Андроник, встречную, — просил Паганини, подводя гостя к столу с закуской. — Вместе, пожалуй, и выпьем.

О. Андроник не отказался и только велегласно крякнул. За первой рюмкой последовала другая, за второй третья и т. д. Меня удивляло, что старик разрешил в такой мере, но он сам объяснил причину:

— Для храбрости дернул, братчик... Наверно, Егорка приплетется, так я ему покажу, курицыну сыну, где раки зимуют. Он думает, я его боюсь... Ха-ха.

Такой оборот дела не обещал ничего доброго, и я предупредил Паганини, чтобы он не упустил из виду о. Андроника, если появится о. Георгий,

Бал был в полном разгаре. Подгулявшие гости кричали, как петухи, и постоянно «повторяли» у стола с закуской. В одном углу за ломберным столом, уселись картежники и ломили в стуколку. Табачный дым, винные испарения и жар выгнали меня в ту комнату, где

шли танцы. Провинциальные барышни в самых пестрых платьях с «панвями» и прочей благодатью чинно расселись на стульях около стен и кокетничали со своими кавалерами в самой примитивной форме. Платья работы Глафиры положительно портили фигуры девушек, но мода здесь, как, может быть, нигде, являлась в самой беспощадной форме. Я не мог найти ни одной девушки в сарафане — на всех были «ланьи». Молодые люди в сюртуках и стоячих воротничках были лучше, но тоже являлись жертвой моды по части широчайших раструбов у панталон и совсем» четырехугольных носков у сапог. Танцевали в четыре пары все одну и ту же кадрили без конца, и танцевали, нужно отдать справедливость, очень плохо. Глядя на эту молодежь, я сравнил невольно этот вечер с одной крестьянской вечеркой, куда ни «паньи», ни крахмальные воротнички еще не проникли — и, право, у мужиков все было веселее, и красивее, и оригинальнее,

Только когда подгуляли старики, картина изменилась. Какой-то седой прасол потребовал «руськую» и вывел в круг Фатевну, кото-

рая в шелковом зеленом платье была сегодня эффектна. Она сильно выпила и, как все пьяные бабы, хотела удавить мир злодейством. Гармоника, захлебывалась, пиликнула «камаринскую», и началась «русская». Уставив руки в боки и скосив голову на сторону, как пристяжная лошадь, Фатевна поплыла белой лебедью; расходившийся прасол пустился в присядку. Публика заметно оживилась и сочувственно притоптывала. Воодушевленная общим вниманием, Фатевна усиленно семенила ногами и размахивала платочком.

В дверях, в этот горячий момент, напротив о. Андроника, показалась бледная, испытующая физиономия о. Георгия, который явился на бал неожиданно для всех.

## VI

На другой день после бала, когда мы с Паганини пили утренний чай, заявила Глафира и после обычной нерешительности проговорила:

— А ведь ночесь следователи приехали... попа Андроника будут судить. Как же... протопоп да два депутата. На земской фатере остановились...

Сейчас после чая мы с Паганини отправились к о. Андронику. Старик, против обыкновения, был в подряснике а только что перед нами читал «Духовный регламент». Он встретил нас молча и молча же указал на 28-й параграф «регул» о пресвитерах, дьяконах и «прочих причетниках», который гласил: «Прочее не токмо наблюдать надлежит, не бесчинствуют ли священницы и дьяконы и прочие церковники, не шумят ли по улицам пьяни, или, что горше, не шумят ли пьяни в церквах, не делают ли церковного молебствия двоегласно, не ссорятся ли по-мужичью на обедах, не истязуют ли в гостях потчевания (а сие нестерпимо бесстудие бывает), не

храбрствуют ли в бо ях кулачных — и за такие вины жестоко их наказывати. Но и сие прилежно им заповедать епископ должен, чтобы хранили на себе благообразие, а именно, чтобы одеяние их верхнее, хотя убогое, но чистое было, и единой черной, а не иной краски, не ходили бы простовласы, не ложились бы спать по улицам, не пили бы по кабакам, не являли бы в гостях силы и храбрости к питию и прочая сим подобная. Таковые бо неблагообразия показывают им быти ярыжными: а они поставлены пастырьми и отцами в народе».

— Конечно, братчики, тихое и мирное наше житье! — както грустно проговорил о. Андроник, поглядывая в окно на улицу. —

— Ну, бог не без милости, — успокаивал Паганини. — Ведь не в первый раз суд-то судит... Следовательно не велика важности — что еще скажут в консистории.

— Нет, братчик, конец пришел... чувствую. Сон был сегодня такой. Уж это верно! Я все приготовил ежели что, на всякий случай...

— Да полно хандрить, отче, — уговаривал Паганини. — Не велика беда, что посудят. Ну,

в консисторию лишний раз съездишь, — и вся тут.

— И в консисторию больше не поеду, братчик: будет. Пусть их: все равно сживут.

Меня удивило необыкновенное малодушие о. Андроника, который в одну ночь как-то совсем опустился и состарился, точно перенес какую-нибудь тяжелую болезнь. Не было даже прежних гневных вспышек, которые сменились неестественной кротостью. Наши утешения не придали о. Андронику бодрости, а только усугубили его мрачное настроение.

— Да я и не боюсь ничего... ничего не боюсь, — говорил старик, когда мы начали прощаться. — Никому я не сделал никакого зла, а что до моих грехов — так это уже богу буду каяться. Не о том я теперь думаю, братчик.

— А о чем?

— Да так, разные мысли... Самое первое: жить надоело. А ты бы как думал? Ну что я такое, ежели разобрать?.. Будет уж небо-то коптить... Пусть помоложе нас поживут, а с нас даже очень довольно.

— А деньги-то как, отец Андроник? — пошутил Паганини.

— Деньги... Небось, братчик, тебе их не оставлю, они всегда найдут себе хозяина. Только я этим консисторским ни-ни! расколотой полушки больше не дам. Это они выдумали из меня жилы тянуть, — нет, братчик, ша-лишь, с деньгами-то я и без них проживу...

Появление следователя произвело в Мугае большое движение.

Свидетелям разнесены были повестки, причем вызывались на суд Фатевна, Глафира и Паганини. Судьбище имело происходить в церкви, что заставило клеветников призадуматься ввиду присяги. Свидетели были народ простой и боялись присяги, как огня.

— Пойдемте в церковь? — предлагал мне Паганини. — Интересно посмотреть...

— А меня не попросят уйти?

— Нет, ничего... Все свой народ; кстати, вы и с отцом Георгием немножко знакомы, а он там главный запевала.

В назначенный час мы были в церкви, где народу набралось порядочно — все вызванные сторонами свидетели. Действие происходило в левом приделе, недалеко от прилавка старосты. Следователь — лысый старичок

протоиерей — сидел за столом; по сторонам помещались два депутата-священника. Середину стола занимали бумаги и следственно-духовные книги. Отец Георгий торопливо перешептывался с свидетелями, которые испытывали в этой торжественной обстановке невольное смущение. Трапезник, еще недавно запрягавший нам с о. Андроником новопкупку, ставил в сторонке нагой с крестом и евангелием, завернутым по-походному в епитрахиль, — значит, допрос будет производиться под присягой, от чего передернуло многих. В толпе свидетелей было несколько заводских служащих, мастеровые, какая-то старушка с палочкой и Фатевна с Глафирой. Когда появился о. Андроник, эта толпа почтиительно расступилась, давая дорогу. Поздоровавшись со своими судьями, о. Андроник занял место у стола и внимательно обвел глазами толпу свидетелей. Паньша старался прятаться за чужими спинами, избегая встречи со своим недавним покровителем.

Начался допрос свидетелей, причем они предварительно были уведены в сторожку трапезников, откуда и вызывались по одно-

му, как это делается в настоящем суде.

— Что вы можете рассказать по этому делу? — обращался следователь к каждому новому лицу.

Свидетели из мастеровых ничего особенного не показали, но зато один прасол с тонкой жилистой шеей утешил за всех. Это был один из тех сутяг, которые встречаются везде, и особенно старался изобличить о. Андроника. Выискался такой же свидетель из заводских служащих, который долго распространялся о том, как о. Андроник играл на гитаре светские песни. Самый интересный момент следствия наступил, когда была вызвана Фатевна, которая отрапортовала все, что сама знала, и, между прочим, с неподражаемым искусством передала недавний случай, как она плясала, а о. Андроник кричал ей: «Чище, шельма!»

— Не имеете ли вы что-нибудь сказать свидетелю? — обращался следователь к о. Андронику после допроса каждого свидетеля.

— Может быть... а не помню... ничего не помню, — отвечал о. Андроник.

— А известно ли вам, свидетельница Тре-

губова, — авторитетно тянул один из депутатов, — как отец Андроник в пьяном виде ездил по всему Мугайскому заводу, даже не ездил, а таскался на вожжах за лошадью?..

— Даже очень известно, дева... И лошадь-то, поди, моя у Андроника. Отличная лошадь... Ей-богу!.. Ну, а у Андроника она пошаливает и, точно, таскает его на вожжах, даже во двор ко мне затащила одинова... Стою я на крыльце, а он, Андроник-то, и въехал во двор — прямо на пузе так и тащится. А лошадка ничего, в табуне давана пятьдесят целковых... Славная лошадка.

— Что же, отец Андроник был пьян, когда в таком виде был втащен к вам во двор?

— Нет, дева, не заметила... Может, и пропустил рюмочки две, а я не заметила.

За допросом Фатевны последовал допрос Глафиры, причем прочитаны были даже ее стихи, обязательно доставленные следователю о. Георгием. Это была настоящая былина, начинавшаяся строфой:

Диесь Мугайская страна прославляется —  
Отец Андроник в сметаие валяется...

Бойкая у себя дома на словах, особенно у себя во дворе, Глафира теперь сильно смутилась духом и понесла какую-то околесную.

— Это ваши стихи? — допрашивал старичок-следователь.

— Уж оставьте вы меня, ваше высокоблагословение, с этими стихами, ради истинного Христа... Сироту долго ли обидеть. Если бы покойничек-тятенька был жив, да разве бы я жила у Фатовны...

— Вас не об этом спрашивают, свидетельница... Если эти стихи ваши, значит, вы хорошо знали описанные в них события?

— Ох, сирота я горемычная...

Дело кончилось тем, что Глафира расплакалась и даже запричитала, так что ее попросили удалиться. Теперь оставался один Памфилий Лихошерстов, которого и вызвали. Он подошел к столу самым униженным шагом, придерживая левой рукой полы расходившегося подрясника; но лицо Паньши было спокойно, и только маленькие глазки смотрели с вызывающей дерзостью, как у человека, отлично знающего свое дело. Это был опытный клеветник, искушенный в непрерывавшейся

розни мугайских попов. Отец Андроник, сидевший до сих пор спокойно, сделал нетерпеливый жест рукой и глубоко вздохнул, точно ему мало было воздуха.

— Что вы имеете сказать по этому делу? — предложил председатель свой стереотипный вопрос, склоняя голову набок.

— Я-с?.. О чем, собственно, рассказывать?

— Рассказывайте все, что вы знаете...

Паньша окончательно воодушевился и все свои вины свалил на голову о. Андроника. Происходила очень типичная сцена, точно целиком выхваченная из какой-то глупейшей сказки. Внутренность церкви была ярко освещена пыльными широкими полосами солнечного света, падавшего под углом сверху; в глубине высился сплошной золотой стеной богатый иконостас; ближе со стен глядели образы всевозможной формы, пахло ладаном, восковыми свечами. Стол с батюшками служил дополнением этой картины. Старичок-следователь, с выхоленной благообразной сединой, принадлежал к типу заводских священников, какие встречаются только на Урале; он держал себя с тем приличным до-

стоинством, какое приобретается долгой жизнью в образованном, приличном кругу. Такие заводские батюшки не принадлежат ни к старым, ни к новым попам, а живут сами по себе. Своими следовательскими обязанностями следователь, видимо, тяготился и все поглядывал на золотые часы с брелоками. Двое депутатов отличались только по цвету волос; один молодой, белокурый, с веселой беззаботной физиономией; другой постарше, с начинавшейся, лысинкой в темных волнистых волосах, заметно дремал и, чтобы разогнать нависавший сон, несколько раз принимался что-то писать на листе бумаги. Отец Григорий составлял душу этого следовательского персонала и постоянно юлил около старичка-следователя, нашептывая ему на ухо. Спрошенные свидетели чинно сидели в уголке, на двух скамьях; с этих скамей доносился сдержанный шепот, тяжелые вздохи и подавленная зевота. Вообще получалась довольно однообразная и скучная картина, так что я хотел идти домой.

— Погодите, сейчас Паньша будет про Васиньку рассказывать, — шепнул мне Пагани-

ни, уже освободившийся от своих свидетельских показаний. — Посмотрите, как он врет, — глазом не моргнет...

Началась самая тяжелая сцена. Желавший непременно выслужиться, Паньша выворачивал всю подноготную из интимной жизни о. Андроника, причем невозможно было отличить, где кончалась ложь и начиналась правда. Отец Георгий сделал печальное лицо и нервно потирал свои длинные белые руки, изредка взглядывая на свою жертву пристальным торжествующим взглядом. Лицо о. Андроника было красно, на лбу выступил крупный пот. Собственно, прямых улик, в юридическом смысле, Паньша не мог представить, но косвенных доказательств нагромоздил массу.

— Теперь нам остается только произвести очную ставку между некоторыми свидетелями, которых показания не сходятся, — проговорил следователь, откидываясь на спинку стула.

Выслушивать еще раз повторение прежних дрызг и пустяков я совсем не желал и вместе с Паганини отправился домой. При выхо-

де из церкви мы столкнулись с Паньшой, которой с другими свидетелями, под конвоем трапезника, опять препровождался в сторожку.

— Уж и подлец жы ты, Паньша! — ругался Паганини, останавливаясь. — Зачем врал-то целый час?..

— Я?.. — удивился Паньша совершенно естественно. — Совсем напрасно, Помпей Агафоныч, вы меня подлецом крестите...

— Как напрасно? Ведь я-то уж знаю все, что ты говорил...

— Хорошо вам так разговаривать, а вот ежели бы...

— Что ежели бы?..

— Да вот так же, как меня, положить бы между двумя жерновами да и молоть, тогда не то заговорили бы...

Паньша скрылся в сторожке, а мы вышли на паперть. День был солнечный, снег слепил глаза; в воздухе чувствовалась приближавшаяся весна. Где-то с крыши звонко падали крупные капли таявшего снега.

— Самое дрянное дело, — заметил Паганини, нахлобучивая шапку на глаза. — Соб-

ственно говоря, этой истории с Васинькой даже я и не знаю, хотя бывал у отца Андроника каждый день. И Паньша тоже ничего не знает, а врет потому, чтобы себя выправить... Этакое свинство!.. Только все это одна комедия. Ведь такие следствия решительно ничего не значат; все зависит от консистории. Не такие дела тонули в реке забвения, только отец Андроник держит себя как-то совсем странно...

Следствие продолжалось дня четыре, причем свидетелей вызывали несколько раз для передопросов и очных ставок. Затем следователь и депутаты уехали, и потревоженная мугайская жизнь вошла в свою колею. Ввиду близкой свадьбы Паганини в доме Фатевны все было перевернуто вверх дном; было два девичника, потом явились подружки Феклисты, в качестве официальных свадебных «девис», и т. д. Чтобы избавиться от свадебной суеты, я часто уходил к о. Андронику, особенно по вечерам. Старик скучал и рад был побеседовать.

— Что же вы в консисторию-то не едете? — несколько раз спрашивал я о. Андроника. —

Ведь дело, пожалуй, дрянь будет...

— А я не поеду — и все тут... Пусть делают, что хотят, братчик. Съездил два раза, побаловал, а в третий-то жирно будет, пожалуй, подавятся. Все равно, ежели бы я и выжил Егорку, другого на его место такого же пошлют. Ну, теперь, ежели разобрать, зачем эти следователи приезжали? Осрамить меня осрамили, а узнать ничего не узнали...

Бывая у о. Андроника, я заметил по некоторым признакам, что старик запил самым опасным запоем. Раньше он всегда пил в компании, а теперь нарезывался один, перед тем как ложиться спать. В течение нескольких дней лицо у него опухло, голос охрип и глаза помутились.

— Вы нездоровы, отец Андроник? — несколько раз спрашивал я его. — Не мешало бы с фельдшером посоветоваться, а то и к доктору съездить.

— Нет, братчик, это так... пройдет, — отговаривался старик.

Мы сидели одни. На столе стоял потухший самовар, стеариновая свеча слабо освещала комнату, в которой теперь водворилась ка-

кая-то жуткая тишина. Разговор не вязался, читать не хотелось, а спать было совестно, — всего семь часов на дворе. Мы долго молчали, и, когда я взглянул на о. Андроника, он сидел на диване и плакал... Крупные слезы так и лились по лицу, блестели на бороде и скатывались на подрясник.

— Ох, скучно мне, братчик, — тихо заговорил о. Андроник, вытирая глаза кулаком. — Тошно!.. Судом меня хотели застращать, а не знают того, какой у меня суд бывает по вечерам вот здесь, в своем дому... Как стемнеет, ставни запрут, тихо сделается везде, — меня и засосет тошнехонько. Страх какойто нападет... Сам не знаю, чего боюсь. А так, хоть сейчас петлю на шею... Лягу пораньше спать, закрою глаза, а тут и пойдет и пойдет в башке-то представление... Богу молиться начну, так опять молитвы во мне нет настоящей, а так, в голове слова-то переливаются, как вода, и только. И все мне тяжелее, точно я даже жизни своей не рад. Ведь грешно это, а ничего не поделаешь. И мысли какие в башку лезут: зачем жил, да зачем еще жить?.. В монахи даже несколько раз собирался, — все же

оно на людях... Разве Егорка это может понять? Поглядеть на него, так весь тут, хоть выжми. Даже иногда, как раздумаюсь, мне жаль делается этого Егорки: больно уж в нем этого ехидства много, а сам пуст...

— Надо лечиться, отец Андроник: у вас просто нервы расстроены...

— Нервы... Эх, братчик, никаких во мне нервов нет, а просто душа болит от этого постылого житья. Я тогда на суде долго амотрел на этих свидетелей: рады-радехоньки про по-па всякие глупости говорить, а сами разве лучше меня? Разве они был» у меня на душе? Нашли в чем обвинять!

Через неделю был получен указ преосвященного о запрещении о. Андроника. Весть об этом принесла Глафира. Мы с Паганини сейчас же отправились навестить старика. Ворота домика о. Андроника, против обыкновения, не были заперты, л мы беспрепятственно вошли на двор.

Меня еще издали поразил какой-то говор и глухое вскрикивание, которое доносилось из горницы. На пороге гостиной дело разъяснилось: на диване, вытянувшись, лежал о. Ан-

дроник с белым застывшим лицом, а около него на коленях ползал Паныша.

— Авва... авва... авва![7] — кричал он, схватывая себя за жиденькие косицы.

— Что такое, Паныша?.. Отец Андроник?

Паныша обернулся, посмотрел на нас каким-то исступленным взглядом и опять затащил свое: «Авва... авва... авва!» Отец Андроник, лежал мертвый. Паралич избавил его от всех житейских дряг...

# Примечания

К особенностям заводского говора на Урале принадлежит смягчение «ц» в «с», так что говорят: серсо вместо сердце, сар вместо царь, девиса, рукависы и т. А-(Прим. Д. Н. Мамина-Сибиряка.)

[^^^]

У зажиточных заводских обывателей в службах, под сараем, обыкновенно выделяется горенка на всякий случай, где проживает прислуга или кто-нибудь из дальней бедной родни: такие горенки называются подсарайными. (Прим. Д. Н. Мамина-Сибиряка)

[^^^]

Кулигами на Урале называют огороженные  
пряслон — изгородью — покосы. (Прим. Д. Н.  
Мамина-Сибиряка.)

[^^^]

## 4

Цвета *Bismark furioso* — т. е. яркого, дикого оттенка (Бисмарка в молодости вследствие его необузданного характера называли «сумасшедшим Бисмарком»).

[^^^]

# 5

Не будем называть имена (лат.).

[^^^]

# 6

Навязчивую идею (франц.).

[^^^]

Авва (церковн.) — отец.

[^^^]